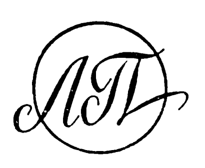


Д. Н. Мамин-Сибиряк

•

ИМЕНИННИК







Д. Маминъ Сибирякъ.



Д. Н. Мамин-Сибиряк

•

ИМЕНИННИК

Пермское
книжное издательство
1989

ББК 8Р1—4
М22

Оформление
Е. И. НЕСТЕРОВА

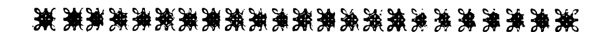
Мамин-Сибиряк Д. Н.
М22 Именинник / Сост., вступ. статья И. А. Дергачева; Худож. Е. И. Нестеров. — Пермь: Кн. изд-во, 1989. — 319 с. — (Литературные памятники Прикамья).

ISBN 5-7625-0121-3

В сборник произведений классика уральской литературы XIX века включен роман «Именинник», посвященный краху либеральных иллюзий, порожденных реформами Александра II, и очерки «Излюбленные люди» — о провинциальной уральской интеллигенции.

М $\frac{4702010101—41}{М152(03)—89}$ 49—89 **ББК 8Р1—4**

ISBN 5-7625-0121-3



ЗВЕНО В ЦЕПИ

При первом знакомстве с этой книгой Д. Н. Мамина-Сибиряка она может показаться пестрой по составу. В самом деле, психологический роман «Именинник» о человеке семидесятых-восьмидесятых годов XIX века, аналитический и острый, в ней сменяется очерковым восторженным утверждением такого типа интеллигентного бескорыстного деятеля, лишенного сомнений и колебаний, который и сегодня реализует программу наших с вами действий на пользу родному краю.

Нет, книга эта едина не только потому, что все произведения, составляющие ее, написаны одним человеком. Она предлагает единую концепцию жизни, единое ее человеческое осмысление и переживание.

В ней яркие отсветы времени, когда она создавалась, но она будит нас, ставит вопросы, от которых не уйти и сегодня.

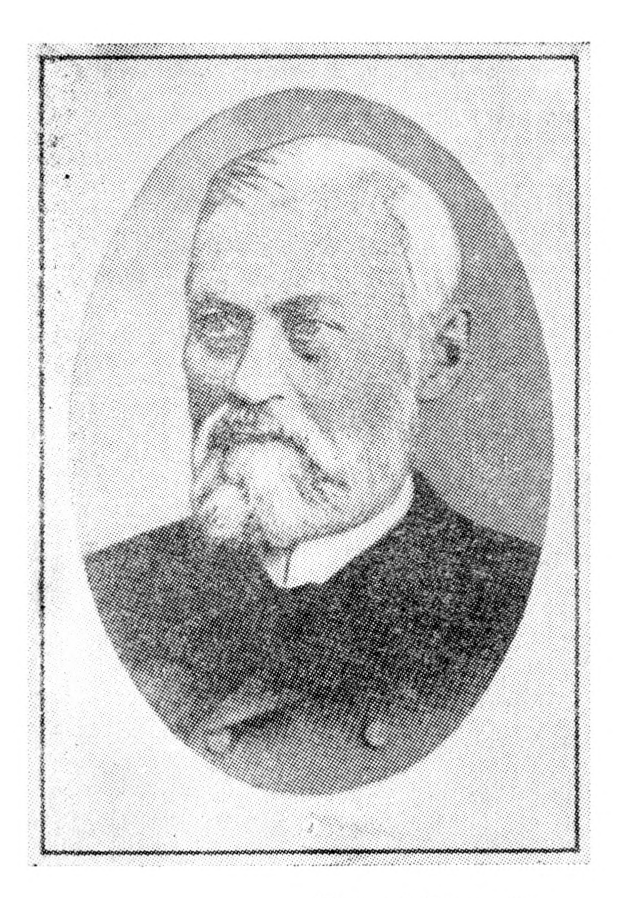
Над романом «Именинник» Мамин-Сибиряк работал два года — с 1885-го по 1887-й. Это было время, которое критик демократического журнала «Дело» Б. Ленский (Б. Онгирский) называл эпохой «мелких идей и померкших идеалов», когда «личность ниоткуда не слышит ободряющего призыва и чувствует себя подавленной и удрученной сомнениями в своем социальном призвании и исторической роли»[1]. В сущности, эти сомнения и стали предметом вдумчивого анализа писателя. Авторский замысел более конкретно был выражен в заметке, доверенной записной книжке,

Первоначальное заглавие, позднее зачеркнутое, было «Человек слова». Такое определение сути героя возвращало бы к пройденному этапу: разрыв слова и дела уже был исследован русской литературой о «лишних людях». Мамин-Сибиряк же подчеркивает в герое постоянное ожидание таких условий, которые дали бы возможность проявиться общественным стремлениям человека: «На Руси есть много людей, жизнь которых проходит в ожидании чего-то; это поистине трагический тип». В записной книжке Мамин-Сибиряк указал и реальный источник образа: «Тип Смышляева» [2].

В письме к редактору журнала «Русская мысль», куда первоначально предполагалось направить роман, он определил смысл романа в словах, близких к цитированным: «Содержание его — трагические провинциальные люди, которым некуда девать свои силы» [3].

«Именинами» русского либерализма в печати называли организацию земского самоуправления. Отсюда и заглавие романа, связанного сюжетом с введением земства в Прикамье в 1870 году и первыми годами его существования. Земство в исторической науке не получило достаточно верного освещения, и обращение к показаниям такого честного свидетеля, как Мамин-Сибиряк, может и должно открыть для нас некоторые новые стороны вопроса. В этом одно из значений романа. Одно, но не исчерпывающее.

При всей исторической конкретности многих фактов, положенных в основу повествования, «Именинник» отнюдь не исторический роман о Пермском земстве, не художественный отчет об одном из эпизодов русской провинциальной самодеятельности. В нем проведено серьезное исследование сути, характера, процессов развития русской интеллигенции от шестидесятых к восьмидесятым годам, когда высокие революционные порывы сменялись гамлетизмом. Этот пласт романного содержания, выводящий нас в духовную историю русской интеллигентской элиты, в свою очередь подготовляет к выходу в самую широ-

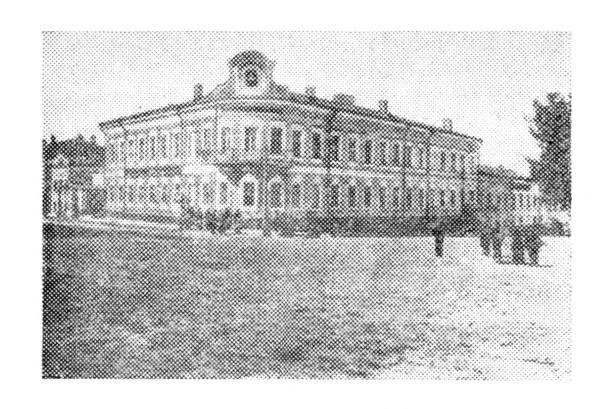


Дмитрий Дмитриевич
Смышляев

кую проблематику духовной жизни человека, к таким ее вопросам, как соотношение личности и ее внутреннего развития с общественным бытием, место личности в историческом процессе, торжество ее и провалы, рефлексия как знак силы и в то же время обнищания человеческой души. А за этими идут проблемы, выдвинутые еще Пушкиным: любовь и духовное состояние личности, ответственность за выбор пути и ценностей жизни, стоимость ошибок в определении поведения и другие. В романе также с любовью изображен тип русской женщины, знакомый нам по классическим произведениям Тургенева.

Но вначале скажем об отражении в романе конкретной истории. Город Мохов — обычный для писателя псевдоним Перми. Открывается земство, проходит губернское собрание гласных, на котором председателем управы избран герой романа Павел Васильевич Сажин. В Перми 11 августа 1870 года в эту должность вступил Д. Д. Смышляев, указанный автором в качестве прототипа Сажина. В биографии типа и прототипа много точек схождения. Разумеется, нельзя считать роман художественной биографией известного пермского деятеля, исследователя края, издателя знаменитых «Пермских сборников», замеченных «Современником»[4]. Однако и исторический Д. Смышляев, и романный герой Сажин были из купеческого рода. Оба они порвали с коммерческими и заводскими делами своих отцов. Оба бывали за границей. В черновиках романа пребыванию героя за рубежом придан особый смысл, говорящий об интересе его к передовым идеям. В окончательном тексте об этом не говорится. Смышляев был за границей дважды: совсем молодым, далеким от общественных интересов, а затем после того, как на него обратили внимание пермские и столичные жандармы в связи с делом сначала революционного кружка Моригеровского, а потом Иконникова[5]. Он подозревался в получении заграничных изданий А. И. Герцена[6].

События общественной жизни, в которых



Дом Д. Д. Смышляева (ныне городская библиотека им. А. С. Пушкина)

участвуют литературный персонаж и его прототип, во многом очень близки. Выступления Сажина, как и речи Д. Смышляева, реального председателя земской управы, вызывали восхищение публики, а его идеи находили поддержку. О деятельности Пермского земства во главе со Смышляевым писали в журналах и столичных газетах как об образце общественной самодеятельности. Знаменитый поэт «Искры» Д. Минаев называл Смышляева в стихах «статным воином, первой земщины бойцом». В связи с десятилетием земства в России о нем с похвалой отозвались «Отечественные записки»[7]. Его хвалили за изменение раскладки земских сборов, когда их тяжесть была перенесена с крестьянских на государственные земли, на капиталы купцов и собственность дворян. По поводу проекта Пермской учительской школы, предложенного им, одна из шведских газет писала: «Свет, наконец, начинает приходить к нам с Востока»[8]. Он сделал много для развития медицинской и ветери-

нарной помощи в деревне. Его переизбрали, как и Сажина, на второе трехлетие, и именно тогда на его долю выпадают испытания. Смышляева теперь поносят за большие расходы на поддержание в порядке Сибирского тракта, к нему придираются за то, что он увеличил жалованье членам управы, в конфликт с ним вступают врачи, недовольные контролем за их деятельностью со стороны управы [9]. Подобные претензии предъявляются в романе и Сажину.

В январском номере журнала «Слово» за 1879 год появилась статья «Земская смышляевщина», где вся деятельность Смышляева подвергалась критике. Автор ее сделал фамилию председателя пермской губернской управы нарицательным именем и писал обобщенно о «земских смышляях». Как и герой романа Сажин, Смышляев сложил полномочия до срока [10]. Правда, чтобы сократить общее романное время, Мамин-Сибиряк поставил Сажина в положение утратившего поддержку публики на втором трехлетии, тогда как Смышляев ушел уже на исходе третьего срока выборной деятельности.

Мамина-Сибиряка не соблазнила возможность построить сюжет романа из частных конфликтов, столкновений, борьбы «партий» в земстве. О них рассказано бегло и только в той мере, в какой они могут прояснить психологическое состояние героя.

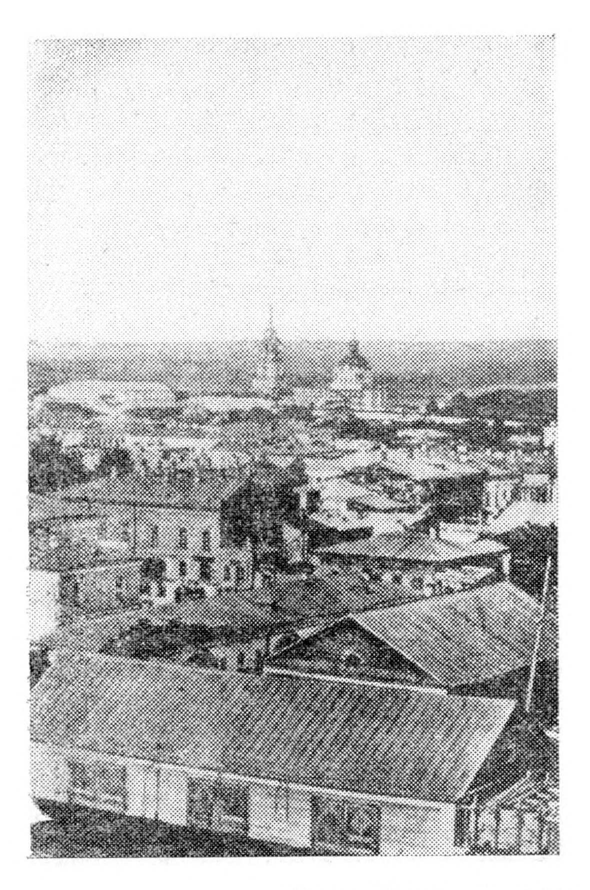
Введение земских учреждений, казалось, открывало дорогу такой самодеятельности интеллигенции, о которой думали многие шестидесятники. Оно воспринималось как продолжение реформ 1861 года, как их развитие. Так думал о своей общественной деятельности и Сажин, заявлявший: «Нельзя жить по-старому, нужно все переделать». Первые же шаги земства свидетельствуют, что это ВСЕ сводится к устройству вентиляции в больнице, ремонту тракта, раскладке повинностей, улучшению школьного дела. Обнаружилось, что деятельность его не вела к сколько-нибудь существенным переменам в основах жизни.



Дом Пермской губернской земской управы

Земство воспринималось некоторыми простыми людьми, подобными Пружинкину, одному из персонажей романа, как действительное самоуправление народа, как организация, живущая интересами его, отвечающая чаяниям и ожиданиям городских низов. На самом деле губернская управа становилась вторичным бюрократическим аппаратом, берущим на себя ряд государственных забот, очень часто лишь отдаленно связанных с улучшением народного быта. Естественно, что и аппарат земства почти не нуждался





Пермь. Вторая половина XIX века

в высоких идеях интеллигентного меньшинства. Власть в управе, как показывает писатель, захватывают «волостные писари», дельцы нового типа, выдвинутые процессом общественного развития.

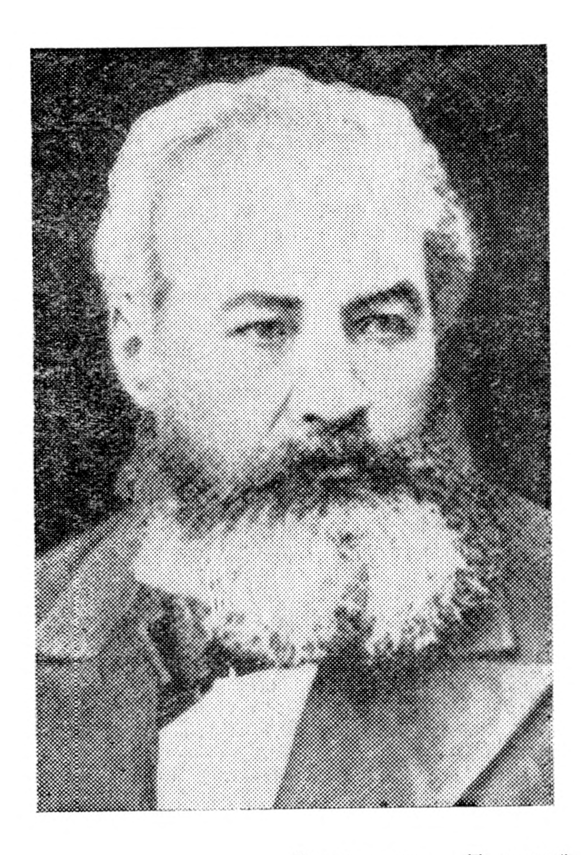
Сажин, как и его прототип, был «свергнут» с поста председателя управы. Дело не только в победе противников. Как верно объясняет одна из женщин его окружения, «ему негде было развернуться и показать себя в настоящую величину», «бродить по колено в обыкновенных глупостях — это надоест кому угодно». Герой сознает ложность своих надежд, вместе с тем он чувствует себя человеком, возвысившимся над окружающими, не нуждающимся ни в их поклонении, ни в их сочувствии.

Однако, как показал писатель, изоляция от живой жизни, от реализации себя как личности в общественном процессе, не подымает человека. Рефлектируя, замкнувшись в себе, лелея мысль о собственной талантливости, оставаясь в одиночестве, он незаметно теряет себя как личность.

Параллельно с рассказом о Сажине развертывается повествование о Пружинкине, простом городском мещанине, полном общественных забот, живущем обостренным чувством ответственности за всех. Он «радетель» за всех обиженных, он «ходатай» в несложных, но насущных делах слабых людей, населяющих городскую слободку.

Фигура его значительна и проясняет писательскую мысль о происходящем. Мамин-Сибиряк глубоко прав, подчеркивая, что идея общественного служения не является исключительной прерогативой интеллигенции. Он всегда полагал, что не о «них, нуждающихся и обремененных», должен думать интеллигентный человек, а «вместе с ними». Залогом того, что такое единство — не утопия, и является деятельная любовь Пружинкина к людям.

В романе, особенно в черновиках к нему, выражена также мысль, что самые верные идеи должны падать на подготовленную почву. Если эти идеи, понимание целей и путей прогресса не



Составитель «Пермской летописи» В. Н. Шишонко

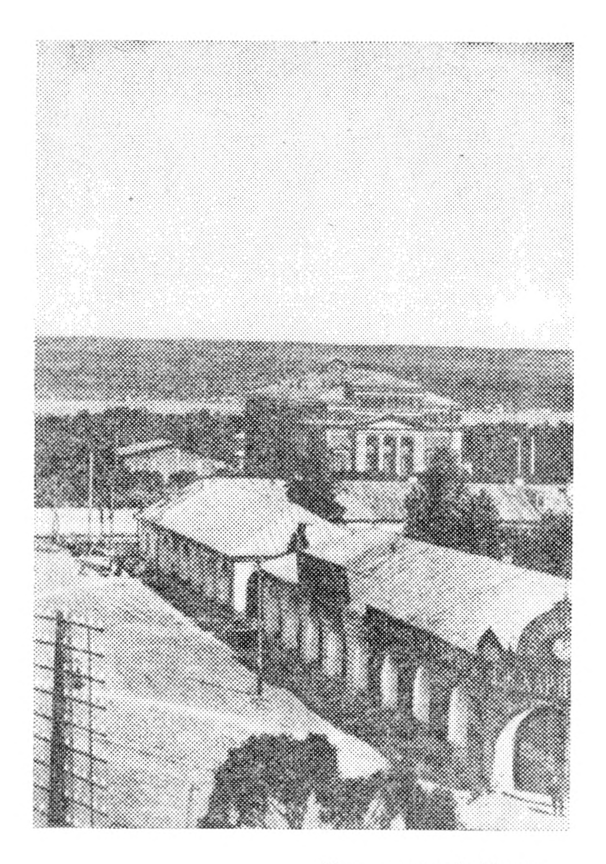
совпадают с потребностями массы, то идеология входит в своеобразное противоречие с историческим развитием, с уровнем возможностей для реализации идей и остается в одиночестве.

При этом мало, чтобы проекты героя были бы понятны отдельным людям из народа. Пружинкин понимает все замыслы Сажина. Герой романа в конце приходит к мысли, что и пружинкины — тоже трагические люди. Сажин говорит: «В самом деле, вглядываясь в Пружинкина, я увидел своего двойника. Та же непрактичность, та же детская вера в несбыточное».

Детально выписанная фигура Сажина включена в своеобразный круг других персонажей романа, в которых зафиксированы динамические процессы в жизни цивилизованного меньшинства России.

Писатель показал, как некогда общее движение шестидесятых годов, связанное с поисками и утверждением новых форм жизни, постепенно распадается. Прежние деятели, считавшие себя шестидесятниками, «нашли себя» в действительности, удовлетворились теми буржуазными формами существования, которые обеспечивают сытость, спокойствие, видимость «полезной» деятельности. Так, один стал инспектором гимназии, другой — акцизным чиновником, а третий даже тюремным надзирателем. «Молодой Мохов» семидесятых годов объединяется в салоне генеральши Мешковой и быстро теряет легкий налет либерализма, который был чем-то вроде модной игры.

Вместе с Сажиным остаются люди, увлеченные наукой, но наукой, далекой от истинных нужд времени, не видящие ее значения для развития общества. Окунев и Корольков, талантливые люди, не нашедшие такого общественного призвания, в сфере которого они могли бы проявить себя, тоже «трагические люди», каких много в провинции. В образе Королькова можно увидеть черты Н. К. Чупина, который отлично знал историю, публиковал документы этой истории, но был далек от вопросов своего времени [11].



Центр старой Перми

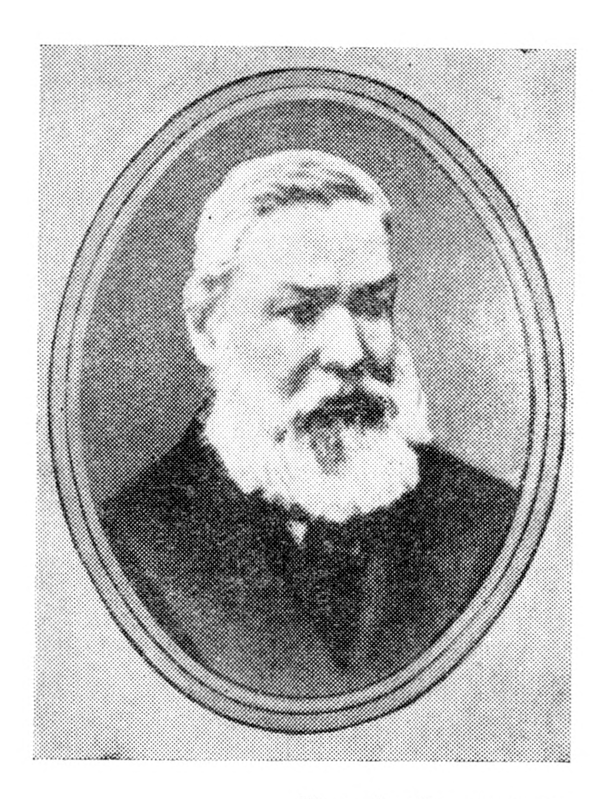
«Лишним людям» восьмидесятых годов Мамин-Сибиряк противопоставляет Анну Злобину, девушку, выросшую в раскольничьей среде. Она преодолела влияние религиозной догматики, косности, системы хищничества, лжи как основы поведения. Героиня строит себя не по моделям того быта, в который она включена, а в страстных поисках самостоятельности, естественности, деятельности, подымающей человека и нужной для других.

Замужество для нее было формой высвобождения от власти традиций, предания, ханжества. Но замужем за Куткевичем, тоже представлявшим «молодой Мохов», она обнаруживает тождество этого безразличного человека, хорошо приспосабливающегося к практике прошлого, и той среды, против которой она выступает и от которой хотела уйти.

Ее влюбленность в Сажина, возникшая как естественное проявление не только любви, но и уважения к его действиям, программе, была смята «романом» героя с генеральшей Мешковой. Новая готовность ее быть нужной Сажину, оставшемуся в стороне от дел, подкреплена нежностью и даже любовью, сохранившейся от прежних дней. Но сам Сажин понимает: Анна любит не его, теперешнего, нищего душой, потерявшего в бездействии и ожидании самобытность и цельность личности, а другого, который остался где-то в прошлом.

Отстранение от активного участия в процессах живой жизни, как казалось герою, ведет наверх, в мир, не подчиняющийся диктату времени. Оказалось же, что замкнуться в себе, в узкой среде, изолированной от мира интересов, страстей, нужд, чаяний, ожиданий других людей значит потерять себя как личность, со всем, что ей принадлежит, даже со способностью любить. Честность не позволяет ему связать жизнь Анны со своей. Он кончает жизнь самоубийством, чтобы не быть виновником еще одного разочарования.

Можно заметить, что финал романа выглядит



Краевед, один из прототипов героев «Излюбленных людей», Н. К. Чупин

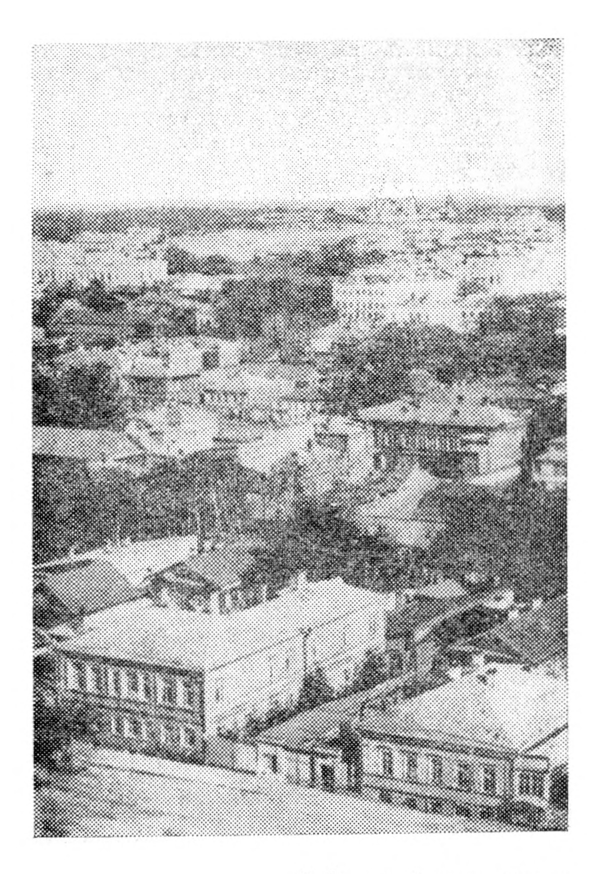
неожиданным для читателей. Он совершенно внезапен и для готовой к новому счастью Анны. И все же именно такой конец романа, нелогичный, если оставаться в рамках сюжетного развития, во-первых, призывает к честности во всем, во-вторых, он со всей силой раскрывает негероичность людей, пассивно ожидающих «призвания», «дела», их трагическую слабость, заблуждения, ведущие к утрате себя как человека.

В самом названии цикла очерков «Излюбленные люди» была неосознанная перекличка с «Именинником». Через десять лет Мамин-Сибиряк не был обязан помнить отдельные его страницы или даже выражения. Но в романе было сказано то же слово, Сажин назван «излюбленным человеком». Произведения эти близки друг другу. Одна и та же тема: провинциальная интеллигенция рассматривается в двух различных временных периодах, очень неодинаковых по содержанию. Рассмотрев «лишнего человека» эпохи безвременья, Мамин-Сибиряк видит людей этой группы в период нового общественного подъема и сам испытывает влияние новых требований общества, философии личной ответственности.

Не случайно с таким восхищением писал и А. П. Чехов о людях «подвига, веры и ясно осознанной цели», когда говорил о знаменитом путешественнике Пржевальском [12].

Люди активной жизненной позиции, полубезвестные «радетели» родной земли, вызывающие растроганную признательность писателя, стали предметом писательского внимательного взгляда. Его привлекало то, милое и нам, чувство абсолютной общественной ответственности, которое всегда тесно связано с бескорыстием. Тот, кто трудится, побуждаемый зовом, велением, порывом своей души и благородным чувством общности с другими, не ищет награды ни в чем, кроме самого дела.

В четырех очерках цикла писатель, в творчестве которого часто можно узнать прототипы, не изменяет себе. Не выписывая абсолютно точные портреты, он видит в людях, которых мы



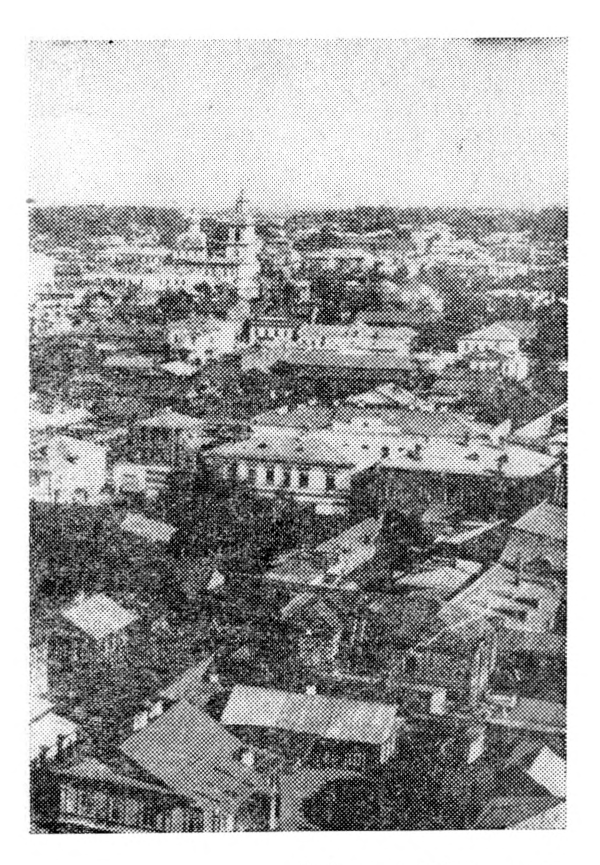
Вид южной части Перми
(1880-е гг.)

можем называть их подлинными именами, то, что составляет тип времени и тип интеллектуальной отданности обществу, так необходимой нашим дням. Все эти люди служат истории родины, каждый по-своему, но одинаково не ожидая мзды.

Возможность расшифровать прототипов главных героев поддержана тем, что о некоторых из них писателем были написаны некрологические статьи. Детали жизнеописания персонажей в них и оценка автором полностью совпадают. Он писал не мемуары. Ему хотелось запечатлеть тип людей самой «почвы», симпатичных ему, являвшихся знамением времени.

Прототипом Аристарха Иваныча в очерке «Великий человек на малые дела» был один из активнейших членов Уральского общества любителей естествознания Павел Михайлович Вологодский (1841—1888), близкий писателю по духу. Он вложил много труда в организацию Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года, которой в очерке уделено столь большое внимание. Мамин-Сибиряк помогал в ее подготовке, хотя был решительно не согласен, когда на выставке пытались представить, как он говорил, только «казовые» концы, не касаясь отставания промышленности, нерешенности ряда экономических и социальных вопросов. Его не устраивало также, что «живая рабочая сила совсем игнорируется, а будут фигурировать одни машины, — по нашему мнению, — писал он, — и первому двигателю промышленности можно было бы уделить уголок». Он был в курсе тех дел, которые волновали его героя. В корреспонденциях Мамина-Сибиряка, печатавшихся в газете «Новости», освещалось открытие и был дан обзор содержания всех отделов выставки, завершившейся 30 сентября 1887 года.

Как и герой очерка, П. М. Вологодский умер вскоре после выставки, 17 апреля 1888 года. Некролог, подписанный Д. Н. Маминым, опубликован в «Записках Уральского общества любителей естествознания»[13]. В некрологе писатель



Вид на городские окраины (1880-е гг.)

подчеркивал (как и в очерке) связь духовного облика человека с благородными человеческими качествами «реалистов-шестидесятников»: «Если всякий думал и заботился о себе, то для Павла Михайловича интерес жизни сосредоточивался в общественной деятельности, тех вопросах и стремлениях, которые придали шестидесятым годам такую интересную окраску». Идея высокого бескорыстия, далеко не чуждая нам и не лишняя в наши дни, звучала в заключительных строках некролога: «Какая похвала может быть выше: целую жизнь человек хлопотал о других, забывая о себе» [14].

С героем очерка «Два летописца» Антроповым, за которым стоит В. Н. Шишонко, автор познакомил нас еще в предыдущем очерке. Уже там было показано высокомерие «науки» по отношению к провинциальному деятелю культуры. В. Н. Шишонко оставил заметный след в изучении Прикамья и Урала. Он составил «Пермскую летопись» в пяти томах, семи выпусках, которая была постепенно издана. Врач по образованию, директор народных училищ по должности, он все свободное время отдавал собиранию и обработке документов давней истории края [15].

О своем знакомстве с В. Н. Шишонко писатель рассказал в очерке «Старая Пермь» (1889). Он говорил и здесь о нелепости награды его труда серебряной медалью. Большая золотая медаль была присуждена за труды, не рожденные здесь, на месте, и посвященные предметам, далеким от интересов края. Его возмущало, что за популярный очерк о Сибири итальянский профессор С. Сомье получил золотую медаль, хотя никакого исследовательского труда вложено здесь не было: проехал — описал, вот и все.

На смерть Шишонко Мамин-Сибиряк откликнулся некрологической статьей в «Деловом корреспонденте» [16]. Материалы некролога широко использованы в очерке «Два летописца», где ставился вопрос о развитии науки на периферии, о внимании к ее нуждам, к ее находкам.

В «Двух летописцах» меньшее внимание уде-

ПЕРМСКАЯ ЛѢТОПИСЬ



Титульный лист «Пермской летописи», составленной В. Н. Шишонко

лено краеведу Минусову, но для общей концепции очерка этот образ имеет большое значение. Ряд прямых указаний и намеков говорит, что Минусов в очерке во многом напоминает известного краеведа, историка Урала, автора «Географического исторического словаря Пермской губернии», директора Екатеринбургского горного училища Н. К. Чупина. Биографические детали у литературного персонажа и живого человека в ряде случаев расходятся. Н. К. Чупин происходил из достаточно известной горной фамилии, учился отнюдь не на средства благотворителей, но это все несущественные частности.

Еще в 1884 году писатель готовил в цикле писем «С Урала», печатавшихся в «Новостях», материал о талантливых провинциальных людях, жизнь которых проходит не так, как надо бы: втуне пропадают национальные силы провинциальной интеллигенции. Письмо с этим сюжетом в печати не появилось и осталось в черновике. Назвав Чупина «редким человеком», «добросовестно работавшим в течение целой жизни», он вместе с тем обращает внимание на отсутствие цельности, законченности, скрепляющих идей. «Чувствуется, — продолжает он, — что это была какая-то инертная работа, работа в безвоздушном пространстве, где живая человеческая мысль не могла примениться к чему-нибудь живому, что волнует и мучает других людей, что висит в самом воздухе, что делает человека сыном известной эпохи, причастным к ее тревогам, интересам и злобам». Завершался сохранившийся отрывок очерка совсем суровыми словами: «От чупинской работы пахнет погребом»[17]. Характеризуя и в «Двух летописцах» работы Минусова-Чупина как «обрывки чего-то, подготовительную работу», он начинает понимать: дело не в складе характера человека, а в отсутствии большого истинного дела, освещенного столь же большой идеей. Он не хотел метать бисера перед свиньями. «Именно так и следовало жить... да», — заключает Мамин-Сибиряк мысли о нем.

И все же Антропов и Минусов, дети одной

Ѳ. А. Теплоуховъ.

ЧУДСКОЕ ЖЕРТВЕННОЕ МѢСТО НА Р. КОЛВѢ.

Съ приложеніемъ 3-хъ таблицъ рисун. древностей.

Пермь.

[illegible]

[illegible]

Титульный лист книги Ф. А. Теплоухова

эпохи, по-разному видели свои задачи. Писателю симпатичнее та открытая самореализация личности, когда человек думает об интересах других, не замыкается в потоке документов, не применённых к интересам и злобам дня.

Эти люди одинаково не внесены в описи национальных богатств, положение их по-своему трагично: силы реализуются далеко не полно и не рационально, осознает это Антропов и заключает беседу горестным сожалением: «Что делать, русский человек еще не привык ценить и относиться с уважением к чужому труду».

В очерке «Наш многоуважаемый...» место действия несколько зашифровано. Такого города на Урале, который имел бы кремль и вместе с тем стоял бы при железной дороге, да еще при этом был известен во времена нашествия Тохтамыша (1362), нам не найти. Однако Мамин-Сибиряк в «Истории Урала» подробно говорит о давней истории Прикамья, связанного с Господином Великим Новгородом и потому ведущего родословие от тех далеких времен.

Здесь речь идет о провинциальных археологах, размахе их работ, о двойственном к ним отношении «столичной» ученой знати, с одной стороны, навеличивающей периферийных коллег «наш многоуважаемый...», а с другой — обирающей их коллекции, что ведет к нарушению единой картины прежнего состояния цивилизации и материальной культуры на определенной территории.

Центральный персонаж носит фамилию Бородковский. Этому литературному персонажу приданы черты крупных пермских археологов-любителей, оставивших яркий след в изучении истории края. Здесь должны подразумеваться А. Е. и А. А. Теплоуховы и Н. Н. Новокрещеных, прославивший себя раскопками знаменитого Гляденовского городища, которые дали около 24 тысяч предметов. А. Е. Теплоухов, бывший крепостной, ученый-лесовод, получивший образование в Лесной академии в Саксонии, с 1857 года очень настойчиво и последовательно занялся археологией.

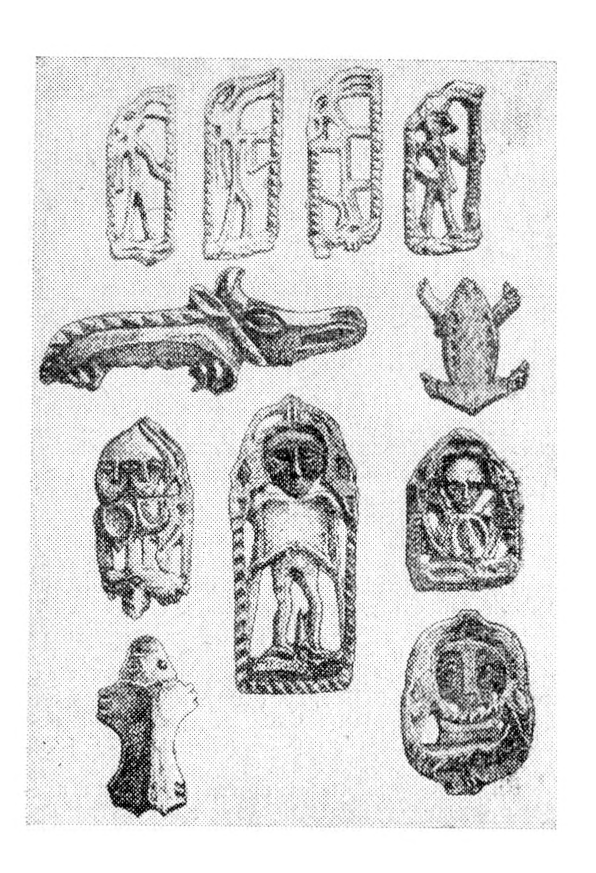
По его стопам пошел и сын. Видимо, в очерке и подчеркнут родовой интерес семьи к такого рода исследованиям.

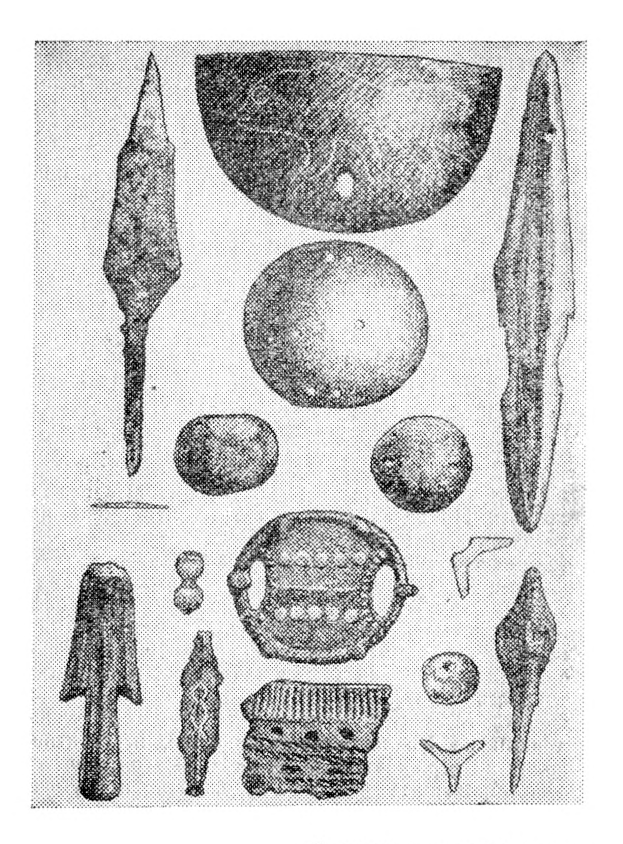
Работы этих археологов составляют и до сих пор солидную базу развития уральской археологии [18].

Цикл завершается очерком «Мещанин Мотылев», посвященным деятелям демократической печати в провинции. Для Мотылева газета — возможность сказать другим о верном понимании действительности, возможность защитить демократические интересы, вести борьбу против дельцов, стяжателей, нагло пользующихся бесправием «низших». Такие деятели — «заступа простых людей».

Мамин-Сибиряк был не только писателем, но и газетчиком. Ему были близки проблемы «малой» прессы провинции. Начинал он свой путь репортером столичных второстепенных газет. Позднее сотрудничал в известнейших, популярных органах печати. Он был частым вкладчиком в провинциальные газеты «Волжский вестник», «Саратовский листок», «Саратовский дневник», «Север», «Одесские новости». В выборе органов печати для сотрудничества писатель был щепетилен. Видя в «Екатеринбургской неделе» орган «заводчиков» и «мучных мешков», он упорно не выходил на ее страницы. Исключение было сделано только в 1887 году, когда, в связи со сменой редактора, Мамин-Сибиряк думал сделать ее близкой по интересам и позиции, но уже в следующем году порвал с ней [19].

Ему хотелось, чтобы пресса выражала интересы «средних» людей, почвы, на которой произрастает и могущество государства и авторитет национальной культуры. Люди, подобные Мотылеву, обладают непоколебимой верой в дело и достоинство его, неистощимой энергией. «Да, — заканчивает свои размышления о нем редактор газеты, которому автор передоверил рассказ, — да, это был типичный мирской человек, являвшийся полным противовесом развинченным интеллигентным людям».





Фрагмент коллекции археологических находок Теплоуховых, воспроизведенный в книге «Чудское жертвенное место»

«Излюбленные люди» — тип людей, которые были на Урале в 80—90-е годы XIX века и которые необходимы в те периоды, когда бюрократическое управление должно смениться демократическим народовластием.

Книга эта представляет единство, хорошо отражая одну из особенностей художественного мировоззрения Д. Н. Мамина-Сибиряка, который смело может рассматриваться как писатель-классик.

В. И. Ленин, прочитав «Уральские рассказы» писателя, заметил, что в его произведениях «рельефно выступает особый быт Урала». В качестве существенной приметы этого быта он отмечал отсутствие «того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России»[20]. Может показаться, что книга, столь полно осветившая различные типы интеллигенции, говорит как раз о другом. Но здесь ясно видно то, что люди интеллигентных профессий на Урале не были носителями тех типичных форм интеллигентного социально-политического и философского сознания (либерализм, народничество), которые были распространены в столицах, центре России, многих ее губерниях. Эта интеллигенция была тесно связана с формами бытия народа, во многом оставалась в круге проблем именно трудовых масс. Оценка Маминым-Сибиряком функции интеллигенции на Урале, ее возможностей, перспектив, роли и отражает это важное обстоятельство, сформировавшее его как художника и публициста.

Книга эта — звено в цепи органического развития нашей родины, Урала и Прикамья. Познание жизни, которое дается на ее страницах, — наше драгоценное наследие.

И. А. ДЕРГАЧЕВ,
доктор филологических наук



ИМЕНИННИК

Роман

I

В конце шестидесятых годов в бойком провинциальном городе Мохове было открыто первое земское собрание. В числе других, рвавшихся посмотреть хоть одним глазком на проявившееся невиданное чудо, всегда можно было встретить старика Пружинкина, который являлся на каждое заседание, как на службу. Земство поместилось в реставрированном здании упраздненной школы кантонистов. Это был необыкновенно мрачный старинный дом с казарменным николаевским фронтоном и громадными голыми окнами, глядевшими на улицу, как глаза без век. Теперь все было подчищено, и стены выкрашены скромной серой краской. На фронтоне красовался герб Моховской губернии: щит с золотой бочкой в синем поле и с эмблемами «горорытства» — в красном.

— Расчудесно!.. — умилялся Пружинкин каждый раз, когда с улицы входил на земский двор и несколько мгновений любовался блестевшим свежей позолотой гербом. — Первое дело, что форменно...

Только что отделанный подъезд с каменными широкими ступенями, зеленой железной решеткой и желтой, «разделанной под дуб», дверью буквально осаждался моховской публикой, так что сторож Михеич выбивался из сил, напрасно стараясь водворить хоть какой-нибудь порядок.

— Нету местов, господа!.. — выкрикивал Михеич, выставляя свою солдатскую физиономию в полуотворенную дверь.

Раз хлынувшая к дверям публика чуть не оторвала Михеичу его высунутую голову: он застрял в притворе. Ввиду такого осадного положения Пружинкин, во-первых, являлся раньше других, а потом заручился надлежащей протекцией в лице Михеича. Публику пускали по билетам, и Михеич успевал заблаговременно «выправить» такой билетик для своего благоприятеля.

— Что-то нам сегодня Павел Васильевич скажут?.. — говорил Пружинкин, степенно раздеваясь в передней. — Уж словечко выговорят, ровно гвоздь заколотят...

— Всех под голик загнал... — самодовольно отвечал Михеич, принимая платье.

Осеннее пальто Пружинкина попадало на деревянную вешалку, под ним устанавливались в порядке глубокие калоши, а зонт прятался в рукав пальто вместе с гарусным синим шарфом. Все это было, конечно, пустяки,

но на Пружинкина они производили каждый раз самое хорошее впечатление, и он проходил в залу с улыбающимся довольным лицом, приглаживая одной ладонью свои седые волосы, другой — застегивая длиннополый суконный сюртук. Окладистая седая борода придавала ему необыкновенно степенный вид, а небольшие серые глаза смотрели умненько и, вместе с тем, добродушно. Издали его можно было принять за церковного старосту.

Усевшись во втором ряду стульев, у окошечка, Пружинкин замирал на своем месте до конца заседания, подавленный массой совершенно новых для него впечатлений. Места для публики отделялись от залы собрания массивной деревянной решеткой; около стен полукругом шли сиденья гласных, а в глубине стоял большой стол, покрытый зеленым сукном. Пахло непросохшей еще краской, олифой и свежим деревом. Гласные торжественно занимали свои места, председатель из «акцизных генералов» звонил, секретарь начинал читать доклад: все это было так ново и так умиляло мещанское сердце Пружинкина.

— Нет, уж теперь шабаш... Конец темноте!.. — шептал он, охваченный неиспытанными еще чувствами. — Нет, не старые времена... кончено!.. Постой, брат...

Широкое и благообразное лицо Пружинкина даже краснело от волнения, и он начинал поправлять туго намотанную на шее шелковую косынку, которая его душила, как удавка. Кроме торжественной обстановки, его занимали больше всего гласные: не угодно ли? — самые простые мужики и мещане, а

сидят рядом с чиновниками и дворянами. И каждый свой собственный голос может подать: не хочу, и всему делу конец. Много было гласных от города, а остальные набрались со всего уезда. Да, он был счастлив, этот мещанин Пружинкин, захваченный общей волной: ведь вот тут, сейчас, за решеткой, начиналось уже то хорошее, новое, к которому он прилепился всем своим мещанским сердцем. Все дела откроются перед публикой, и все пойдет «начистоту», а не по чиновничьим ямам и берлогам.

Героем дня являлся Павел Васильевич Сажин, простой гласный, успевший в каких-нибудь две недели завоевать общее внимание, так что публика встречала его появление одобрительным шепотом. Это был худой, высокий господин с длинным безжизненным лицом и вялыми движениями. В заседания он являлся в каком-то гороховом пиджаке и пестром галстуке; держал себя очень рассеянно и со стороны мог показаться просто чудаком. Но зато говорил Сажин замечательно хорошо: просто, находчиво, остроумно, с тем захватывающим огоньком, который действовал на его слушателей неотразимо. В зале наступала каждый раз мертвая тишина, когда Сажин поднимался со своего места. Падкая до всякой новинки провинциальная публика валила валом в собрание, чтобы только послушать Сажина, и смотрела на него, как на редкого зверя. Во всяком случае тут было много пустого любопытства, но Пружинкин просто влюбился в Сажина, — мы не находим другого выражения для того, что переживал

Пружинкин. Сажин говорил именно то, о чем давно думал добродушный обыватель, и как говорил? Просто, ясно, убедительно. Нельзя больше жить по-старому, нужно все переменить, и Пружинкину казалось, что это он сам высказывает в собрании свои задушевные мысли. Положим, что его никто не призывал, не просил, не выбирал, но, тем не менее, он чувствовал, что теперь и у него будет свое дело.

— Расчудесно, Павел Васильевич, — одобрительно шептал Пружинкин, раскачивая головою в такт сажинской речи. — Так их всех и нужно, Павел Васильевич... Пусть восчувствуют!..

Увлекшись, Пружинкин вытягивал шею, шевелил губами и смущенно улыбался, когда Сажин смотрел в его сторону. Собственно говоря, речь шла о самых прозаических предметах: устройство вентиляции в земской больнице, поправка тракта, разъездные деньги становым приставам, раскладка повинностей, фельдшерские пункты и т. д. Но для Пружинкина из-за этих пустяков вырастало то *новое*, до которого Павел Васильевич непременно дойдет, — он все разберет, «достигнет настоящего». Сначала больницы да школы, а потом пойдет и настоящее.

Когда Сажин был в ударе, Пружинкин любил наблюдать слушавшую публику и по выражению лиц проверять свои собственные впечатления. Пружинкин знал в лицо почти весь город: вон советник казенной палаты, лысый и тугой на ухо старик; рядом с ним соборный протопоп с елейным выражением

скуластого лица, молодой столоначальник акцизного управления, много купцов, какие-то гимназистики, а в первом ряду дамы: жена прокурора, генеральша Мешкова, чиновничьи дочери. Все сидят и слушают одного Павла Васильевича. Однажды публика устроила Сажину неожиданную овацию — аплодировали, стучали ногами, махали платками. Пружинкин как-то весь застыл от восторга, а потом быстро отвернулся к стене, чтобы скрыть свои непрошеные мещанские слезы. У старика мелькнула ужаснувшая его своей грандиозностью мысль: что же дальше-то будет, если уж и теперь вся публика, как один человек, все поняла?..

В первом ряду стульев особенное внимание Пружинкина привлекла на себя молодая красивая девушка, сидевшая рядом с генеральшей Мешковой. Это была Анна Ивановна Злобина, которую он знал еще маленькой девочкой. Теперь она была совсем большая, как есть невеста, и так умно посматривала кругом своими большими темными глазами. И одевалась она простенько, не то, что генеральша: серенькое шерстяное платье, осенняя поярковая шляпка, какой-нибудь галстучек — и все тут, даром что самая богатая невеста в городе. «Злобинская барышня» слушала Сажина с самым напряженным вниманием, и это особенно нравилось Пружинкину. Другие кривляются да пересмеиваются с кавалерами, а эта сидит, как пришитая, да еще в книжку все записывает: чирк-чирк карандашом.

«Расступилась, видно, Марфа-то Петровна: пустила дочку послушать, как умные лю-

ди говорят, — подумал Пружинкин, припоминая строгие порядки злобинской жизни. — По-прежнему-то сидеть бы тебе, красная девица, за пяльцами да выглядывать из-за косячка, не проедет ли суженый-ряженый: только всего твоего девичьего и ремесла было, а теперь нá-поди... Вон уж оно куда хватило!..»

Издали Пружинкин несколько раз раскланивался с Анной Ивановной, но подойти к ней и поговорить старик никак не решался. Первое дело, с ней приезжает эта генеральша Мешкова, красивая маленькая дама с русыми кудряшками, а потом непременно появится точно из-под земли доктор Вертепов, плотный черноволосый мужчина в золотых очках, или кто другой из кавалеров. Иногда к дамам подходил сам Павел Васильевич, и Пружинкин видел, как ласково улыбалась ему генеральша, а злобинская барышня опускала глаза и лицо у нее вспыхивало ярким румянцем.

После сделанной Сажину овации Пружинкин не вытерпел и, догнав Анну Ивановну в передней, где Михеич подавал ей осеннее пальто, проговорил:

— Расчудесно Павел Васильевич говорят...

— Да, отлично... — как-то нерешительно ответила Анна Ивановна, не узнавая Пружинкина с первого раза. — Извините, Егор Андреич, я вас не узнала сразу, — поправилась она, протягивая руку в перчатке: — вы нас что-то совсем забыли, и мама спрашивала про вас несколько раз.

— Приду-с, непременно приду-с, Анна Ивановна... А то все как-то некогда было: дела-с. Конец темноте, Анна Ивановна...

Девушка быстро вскинула глаза на Пружинкина и так хорошо улыбнулась, что у старика даже на душе захолонуло от удовольствия. Он без шапки выскочил на подъезд кликнуть злобинского кучера; Анна Ивановна весело кивнула ему головой и хотела что-то сказать, но в это время ее догнал Сажин, застегивавший пальто на ходу. Генеральша Мешкова, улыбающаяся и розовая, как ребенок, шла под руку с Анной Ивановной, и Пружинкин вежливо отскочил в сторону, чтобы дать дорогу. В присутствии Сажина его каждый раз охватывало то радостное волнение, которое испытывают все влюбленные.

— Нам по дороге, mesdames, — говорил Сажин, помогая дамам сесть в экипаж. — А где наш доктор?..

— Здесь, здесь... — свежим баритоном отозвался доктор, протискиваясь сквозь толпу.

Генеральша Мешкова уехала в одном экипаже с Анной Ивановной, а за ними полетела сажинская пролетка, уносившая самого владельца и доктора Вертепова. Пружинкин стоял на крылечке без шапки все время, пока экипажи не скрылись из виду, и улыбался в пространство, как человек, который еще хорошенько не проснулся. Обыкновенно Пружинкин каждый раз дожидался Сажина в передней и раскланивался с ним издали. Сажин редко замечал эту скромную мещанскую фигуру, но это нисколько не огорчало Пружинкина: он выбегал и еще раз кланялся.

II

Мохов, небольшой красивый город, раскинулся по холмистым берегам небольшой речки Наземки. С запада подходил к нему столетний сосновый бор, в котором прятались казенные дачи губернского начальства. Издали получалась довольно пестрая картина, которая вблизи естественным путем распадалась на самые обыкновенные составные части всех наших городов: зеленые колокольни, плохой гостиный двор, общественные здания, дрянненький театр, разные купеческие строения и мещанские лачуги. Возвращаясь из земства домой, Пружинкин сначала проходил по самой фешенебельной Консисторской улице, на которой стоял губернаторский дом, разные палаты и ряд «колониальных» магазинов, потом поворачивал направо и по каменному мосту через реку Наземку попадал на тонувший в непролазной грязи Черный рынок, где буквально не было ни прохода, ни проезда и тонувших лошадей вытаскивали из грязи за хвосты. Черный рынок узкой, старинной улицей Мукосеевкой соединялся с большим предместьем Дрекольный-Мыс, Теребиловка тож. Первое название происходило, по всей вероятности, от того, что Наземка здесь образовала что-то вроде полуострова, а «теребиловками» у нас называют обыкновенно все предместья.

Особенностью этой Теребиловки было то, что она залегала в верховьях Наземки и, таким образом, господствовала над городом; по крайней мере, она решительно отравляла во-

ду в реке, потому что теребиловцы сваливали в нее все нечистоты, мочили кожу и всякую дрянь. Перепутанные узкие улицы были уставлены самым незавидным мещанским «жительством»: кабаками, веселыми заведениями и просто лачугами. Ютившееся здесь оголтелое мещанство пользовалось самой незавидной репутацией, но Пружинкин любил эти отверженные места той «непонятной и странной любовью», которая органически связывает человека с родиной. Да, он родился в одной из этих лачуг, босоногим мальчишкой бегал по этим грязным улицам и знал всех и каждого.

— Егор Андреич, наше вам!.. — говорили встречавшиеся теребиловцы, раскланиваясь со стариком. — Как господь носит?..

— Ничего, прыгаем помаленьку... Ты куда это, Макар, сапоги-то потащил?.. А-ах, нехорошо: жена после родов не успела оправиться, а ты из кабака не выходишь...

— Егор Андреич, голубчик... Бож-же мой!.. Да разве я не понимаю в своих мыслях... Тоже и у нас совесть...

Иногда, слишком занятый какими-нибудь особенно важными соображениями, Пружинкин шел по улице, разговаривая вслух и размахивая руками. Теребиловцы вежливо сторонились, чтобы не помешать старику, который, наверно, опять «мозгует какую-нибудь штуку». Из этого можно было заключить, что между Пружинкиным и теребиловцами существовали самые нежные и любовные отношения, как и было на самом деле. Он был свой человек, к которому шли за разрешени-

ем разных проклятых вопросов. — «Егор Андреич, опять я к тебе с затруднением: в карц садят», или: «Егор Андреич, как же это, ежели, например, мужняя жена убежала и при этом оказала себя очень фальшиво ко мне»... К нему приставали прямо на улице и удерживали за рукав.

Избушка, в которой жил Пружинкин, была не лучше и не хуже другого теребиловского жительства: крыша прогнила, у одного окна недоставало ставни, ворота покосились. «Ужо вот как-нибудь надо поорудовать над избенкой», — часто задумывался Пружинкин и прикидывал в уме, как и что нужно будет поправить, починить и вообще привести в надлежащий хозяйственный порядок. Но год шел за годом, а избушка разваливалась все сильнее, потеряв всякую надежду на помощь хозяина, которому вечно было некогда. Небольшой дворик был огорожен со всех сторон разными пристройками: амбары, амбарушки, навесы и т. д., хотя все хозяйство заключалось в десятке гусей, в старой козе и черной бесхвостой собаке Орлике. Внутренность самой избы поражала своим печальным видом: пол покосился, потолок тоже, обои на стенах висели клочьями, в осевшие двери и окна дуло, а по зимам все четыре угла прорастали сплошным куржаком. Двухспальная деревянная кровать стояла у самой двери; русская печь была целомудренно закрыта ветхой ситцевой занавеской. Всем хозяйством Пружинкина заведывала глухая старуха Акимовна, его дальняя родственница, которая по целым дням лежала на покое.

Живым местом в избушке была та стенка, которая шла от кровати к наружному углу; здесь в величайшем порядке были развешаны: ружье, скрипка, разные охотничьи принадлежности, плохая олеография, изображавшая голую красавицу, несколько фотографий; у стены стоял небольшой березовый письменный стол, заваленный деловыми бумагами и «законами», как Пружинкин называл свою походную юридическую библиотеку. Старинное клеенчатое кресло, вытертый ковер у стола, три стула и полочка с разными редкостями дополняли всю обстановку.

— Все-таки свой угол... — самодовольно повторял Пружинкин, принимая посетителей в своей избушке. — Первое дело, что я знать никого не хочу; сам большой, сам меньшой.

Стоило Пружинкину показаться только в избушке, как сейчас же появлялся кто-нибудь из его бесчисленных клиентов. Собственно, он для Теребиловки составлял все: и юрисконсульт, и комиссионер, и — главное — тот «нужный человек», без которого хоть пропадай. В сношениях Теребиловки с городом возникала целая масса недоразумений, и Пружинкин являлся примиряющим элементом. Если случались в городе крупная кража, убийство, подкинутый «младенец», виноватых искали в Теребиловке; если человек терял в городе «занятие», он отправлялся в Теребиловку, где всем находился угол. Кроме исконных обывателей, составлявших главное ядро, здесь ютились все отбросы и тот человеческий хлам, который создает бойкая городская жизнь, — прислуга без мест, спившаяся с кругу, «пер-

вые» кучера, отставные солдаты, мелкие чиновники, просто пропащие люди, которыми хоть пруд пруди. Теребиловка открывала гостеприимные объятия всем обездоленным и обиженным, и в награду за свою терпимость получила репутацию гнезда жуликов и воришек. Эта последняя репутация всегда кровно обижала Пружинкина, хотя он и не отрицал факта, что теребиловцы воруют, и даже весьма воруют.

— Это точно-с, есть такой грех-с... — смущенно повторял он и прибавлял не без достоинства: — Только нужно и то сказать — суди волка, суди и по волку. Первое дело, всякий человек кушать хочет, а, например, ни работы, ни занятия, ни ремесла — бывает всяко-с...

Эта снисходительность имела подкладкой свои высшие соображения, как мы увидим ниже. Прежде всего, Пружинкин был общественный человек, и в этом заключался главный источник всех его житейских неудач. Жить только для себя, в свое брюхо — он не мог и считал теперешние «дела» за пустяки, которыми занимался так, *пока*, в ожидании того настоящего, к которому тяготел всей душой. Смысл жизни являлся для него лично только в общественной деятельности, но, как на грех, именно в этом направлении он как-то не мог приспособиться, несмотря на самые великолепные проекты. Как характерную черту, можно отметить ту особенность, что все мысли Пружинкина имели основанием именно Теребиловку, которая засела в его мозгу со всеми своими злоключениями, напастями и собственными грехами. Устроить костяной за-

вод, общественную гвоздарку, канатную фабрику, разные мастерские — вот над этим следует хлопотать. Будет у людей кусок хлеба, и воровать перестанут. Проектов у Пружинкина было достаточное количество; он излагал их письменно, обращался за содействием к богатым купцам, чиновникам и доходил до самого губернатора, но все эти хождения и хлопоты постигала одна и та же участь: Пружинкин нигде не встречал сочувствия, и проекты возвращались к нему с более или менее обидными примечаниями.

— Ведь нельзя же, в самом деле, так жить, чтобы, например, воровством хлеб добывать, — доказывал огорченный старик бесчувственным богачам. — Да и какое это воровство! Прямо себе в убыток воруют, хоть те же теребиловцы... Самое невыгодное занятие-с. Второе — причина та, что народ глуп и никак не поймет своей собственной пользы. Все как-то по-ребячьи у них, и нужно образованным людям эту самую темноту порешить... Нельзя же так жить, закрывши глаза.

Так прошел не один десяток лет, и вдруг открывается земство, где избранные люди начинают говорить то самое, что́ раньше думал он, мещанин Пружинкин, убиваясь в своей лачуге над разными проектами. Домой из собрания Пружинкин возвращался в каком-то тумане, и у него просто захватывало дух от кружившихся в голове мыслей. А Сажин-то? Точно он был у него на душе: из точки в точку говорит то самое, что Пружинкин думал своим собственным умом. Старик забросил свои личные дела и всецело отдался пересмот-

ру своих бумаг, где нашел много совсем готового.

— У нас с Егором Андреичем что-то не ладно!..—порешили теребиловцы, наблюдая задумавшегося старика.—Как бы он того... на чердаке не повихнуло бы. Ежели который человек над своими мыслями начнет задумываться — тут ему и конец!

Встреча с Анной Ивановной и овация Сажину довели Пружинкина до такого нервного состояния, что он не только не мог ничего делать, но просто нигде не находил себе места. В самом деле, «настоящее» уже было тут, у всех на глазах... Кто он такой, хоть взять того же Сажина,—купеческий сын, получил образование в университете, ездил куда-то за границу, ну, что же из этого? Мало ли умных и образованных людей из купечества в том же Мохове, да толку из этого мало: умны для себя, а другим от этого ни тепло, ни холодно. Никто бы и не знал, что есть на свете какой-то Павел Васильевич Сажин, а тут нáподи, всех постановил и всех удивил! Про Анну Ивановну и говорить нечего: девушка из такой семьи, а тоже вот любопытно, как и что на белом свете делается. Отцы-то только и думали, как бы нажить капиталы разными правдами и неправдами, да все в свое брюхо, а детки уж новое думают...

Пружинкин просыпался даже по ночам и снова передумывал все то, чтó залегло ему в душу. Хорошо, как ни поверни! В избушке темно; Орлик похрапывает у печки, на стене тикают часы с кукушкой, а с улицы несутся и пьяная песня, и отчаянный далекий крик

погибающего человека, и шлепанье пьяных ног по грязи. Теребиловка не знала покоя и ночью, когда кабаки светились в темноте, как волчьи глаза, а по веселым притонам надрывалась доморощенная музыка. — «Вишь, темнота-то наша как подымается! — думал Пружинкин и даже улыбался. — Погодите, пришел конец! Будет уж вам свою дурь показывать!» Засыпая, старик видел свою Теребиловку обновленной и счастливой: чистые улицы, уютные домики, здоровые и довольные дети, и всякий при своем деле... Попыхивают паровые машины, дымят фабричные трубы, и никто больше не считает теребиловцев за жуликов и отчаянных воров.

Завернувший к Пружинкину фельдшер Сушков удивился той перемене, которую нашел в старинном благоприятеле. Нужно сказать, что для Теребиловки этот маленький медицинский человек в одном своем лице представлял всю медицинскую науку, а главное — он умел пользовать своими средствами.

— Да уж ты здоров ли, Егор Андреич? — спрашивал участливо Сушков, закуривая копеечную сигарку.

— Ничего, здоров, слава богу.

Сушков был коротенький, толстенький человек, известный в Теребиловке под фамильярной кличкой «Чалко». «Вон Чалко поехал к Митрюхиным молодайку выправлять!», «Глика, ребя, у Чалки новая шуба!» и т. д. Добродушное и глуповатое лицо Чалки производило успокаивающее впечатление на больных одним своим появлением, а потом он так хорошо умел говорить: «Ничего, как-нибудь...»

Теперь Чалко смотрел на Пружинкина своими мышиными глазами и покачивал головой.

— Ничего ты не понимаешь, Чалко! — ответил наконец Пружинкин. — Ну, похудел, что ж из этого?.. Дела-то какие... ах, какие дела!

— Под ложечкой у тебя не давит? — допытывал Чалко. — Можно касторки принять... Да ты чего остребенился-то? Я ведь и уйду... С этой Теребиловкой дохнуть некогда: семь избитых баб от праздника осталось, трое тифозных, ребятишек человек пятнадцать, две белых горячки... А лекарства не на что купить ни одной душе! Ну, как я тут буду поворачиваться?

— Погоди, Чалко! Все устроится! — говорил Пружинкин, смягченный наивностью Чалки. — Говорю: погоди!

Обыкновенно Чалко завертывал к Пружинкину «на один секунд», плевал на пол, сыпал пепел куда попало, жаловался на теребиловцев и отправлялся дальше.

— Так ты того, в самом деле... хины можно приспособить, — заговорил Чалко на прощанье. — Большая перемена, и колера прежнего нет.

Пружинкин только махнул рукой на бестолкового приятеля, который решительно ничего не понимал.

III

У Пружинкина давно созрела мысль отправиться к Сажину и предложить ему свои

услуги, но он выжидал окончания сессии. Теперь Павлу Васильевичу было не до него. Когда наконец сессия кончилась, на Пружинкина нашел какой-то нерешительный стих: а если Павел Васильевич, не говоря худого слова, поворотит его назад? Угнетаемый этими сомнениями, старик решился предварительно завернуть к Злобиным и там под рукой разведать, что́ и как. К Злобиным прежде он хаживал частенько, а теперь, кстати, Анна Ивановна закинула словечко, чтобы он побывал.

Приодевшись в свой обычный выходной костюм, Пружинкин отправился наконец в город. Злобинский одноэтажный деревянный дом стоял на углу Консисторской улицы и Московского переулка, на самом бойком месте. Большим садом он точно срастался с двухэтажным каменным домом Сажина, который выходил фронтом в Гаврушковскую улицу. Пружинкину больше нравился злобинский дом, выстроенный по-старинному — с мезонином, пристройками, сенями, переходами и разными потаенными каморками. Днем он так приветливо смотрел на улицу своими небольшими окнами с тюлевыми занавесками, а на ночь все окна затворялись на ставни тяжелыми железными болтами. Нынче таких хороших домов не строят, чтобы каждый гвоздь сидел барином, а прочные бревна «не знали веку». Перед домом были деревянные тротуары; посыпанный желтым песочком двор всегда держался «под метелку», а приветливые крылечки точно манили прохожих завернуть в старое крепкое гнездо, полное до краев тем

туго сколоченным довольством, которому нет износу. Пружинкин любил по пути, даже без всякого дела, завернуть сюда, испытывая безотчетное удовольствие. Когда еще был жив сам старик Злобин, он часто бывал в этом доме по своим бесконечным делам, а теперь ходил к Марфе Петровне, нагружавшей его самыми разнообразными поручениями.

На этот раз Пружинкин шел в злобинский дом с особенным удовольствием, точно он сделался ему родным, — ведь и в этом раскольничьем гнезде бьется теперь та же мысль, которая ему, мещанину Пружинкину, не дает спать. День выдался светлый, солнечный, с тем особенным крепким холодком, какой бывает в начале октября. Сентябрьская грязь смерзлась, и экипажи бойко катились по гладкому накату. В богатых домах везде уже были вставлены зимние рамы, а в голых ветвях берез стаями перелетали дрозды-рябинники. Даже Черный рынок и тот точно повеселел, скованный первыми заморозками. На пути из Теребиловки Пружинкин встретил много знакомых и очень галантно раскланивался, приподнимая свой стеганый картуз с большим козырем: ехал куда-то протодьякон на своей рыжей лошадке, потом попался секретарь канцелярии губернатора, два писца из судебной палаты, несколько прасолов и т. д. На каменном мосту, горбившемся через реку Наземку неуклюжей и тяжелой аркой, встретилась Анна Ивановна. Она ехала в осенней шубейке, опушенной серым барашком, и в такой же барашковой шапочке.

— Мама дома,— крикнула девушка, наклоняясь с дрожек. — Заходите к нам, Егор Андреич. У меня есть дело к вам...

— Преотлично, Анна Ивановна...

Экипаж с треском повернул на Черный рынок, а Пружинкин через десять минут входил уже на широкий двор злобинского дома, раздумывая, какое такое дело могло быть у Анны Ивановны. Обогнув «паратнее», Пружинкин направился к знакомому заднему крылечку, где был ход к «самой». Дорогу ему пересекла горничная Агаша, краснощекая и глазастая девушка, летевшая через двор в одном платье, с каким-то необыкновенно экстренным поручением. В полутемной и низенькой передней, где целая стена была увешана верхним носильным платьем, Пружинкин разделся со своей обычной степенностью и поставил сучковатую палку на свое место в уголок. Здесь уже начинался тот характерный запах, который стоял в злобинском доме испокон веку: пахло мятой, мускусом, ладаном и старомодными цветами, вроде гераней, жасмина и мускуса. Горничная успела уже вернуться и пронеслась мимо Пружинкина, как ветер, чтобы оповестить «самое».

— Ишь, стрела, бес в ногах-то сидит! — добродушно пошутил старик, направляясь из передней по узенькой тропинке в столовую.

— Где запал? Что давно не видать? — послышался ворчливый голос Марфы Петровны, которая шла навстречу гостю с засученными рукавами раскольничьей рубашки: она оторвалась от какого-то спешного дела.

— Нельзя-с, Марфа Петровна, свой интерес... — бормотал Пружинкин, раскланиваясь. — У всякого свои дела-с.

— Знаем мы твои дела: дыру в горсти ловить? Ну, иди, делец, ко мне в каморку. А я уж хотела посылать за тобой... Цесарка у меня извелась, славная такая была цесарка.

— Чтó же, это весьма возможно-с. У меня даже на примете: как на заказ для вас, Марфа Петровна. У дьякона, который овдовел в третьем годе... И дьякон отличный-с, с настоящим поведением.

Марфа Петровна была худенькая, небольшого роста старушка с необыкновенно подвижным лицом и живыми темными глазами. Ходила она какой-то особенной, дробной походкой, одевалась в шелковые сарафаны, на голове носила «сороку» и говорила грубым голосом, неприятно прищуривая глаза. Сморщенное желтое лицо с прямым носом и густыми бровями имело немного птичий отпечаток, особенно когда Марфа Петровна быстро поворачивала головой. В обращении она отличалась большой резкостью, но в городе ее все очень любили как женщину умную и деятельную. Неприятной чертой в ее характере являлась чисто раскольничья хитрость. Ей нельзя было верить. Когда ее ловили на слове, Марфа Петровна принимала скромный загнанный вид, обиженно вздыхала и повторяла свою любимую поговорку: «Нельзя, миленькие! Правдой века не проживешь. И меня словами-то добрые люди обманывают, как курицу пустым зерном». В своем раскольничьем кругу старуха Злобина пользовалась боль-

шим авторитетом, хотя, как гласила молва, она занималась ростовщичеством, выдавая деньги под двойные векселя и за двойные проценты. Старик Злобин умер уже лет пять, но Марфа Петровна вела все дела и стояла в своем купеческом звании твердо. У нее была и торговля, и своя мельница, и разный другой промысел. По раскольничьим старинным домам немало таких деловых старух, которые ворочают миллионными делами. Рука об руку с хищническими инстинктами в Марфе Петровне уживались и потайная милостыня, и воспитание круглых сирот, как горничная Агаша, и крупные пожертвования на дела своей поморской секты. Под старинной «сорокой» укладывались эти «двойные мысли» самым мирным образом, и Марфа Петровна умела отлично примирять требования совести и высшей справедливости с самыми безжалостными операциями и заурядным объегориваньем. В старухе, прежде всего, был характер, уверенность, известная убежденность, что, взятое вместе, обезоруживало самых заклятых ее врагов.

— Так ты, смотри, добудь мне цесарку, да не захвастывай ценой, — говорила Марфа Петровна, усаживая гостя в своей комнате на деревянный стул. — У меня свои деньги-то, не краденые.

— Сейчас Анну Ивановну встретил... — проговорил Пружинкин вместо ответа и, разгладив бороду, прибавил: — Одно украшение, можно сказать-с, а не девица. Шубка-то новенькая у Анны Ивановны?

Марфа Петровна быстро взглянула на

Пружинкина своими прищуренными глазами и ничего не ответила.

Каморка у нее была маленькая, с одним окном, выходившим на двор, как всевидящее око. У внутренней стены стояла простая деревянная кровать, покрытая ситцевым одеялом: Марфа Петровна, искушая свою плоть, спала на голых досках. В переднем углу помещался целый иконостас из образов старинного письма с неугасимой лампадой перед ними. В изголовье кровати привинчен был к стене несгораемый железный шкап. На большом столе, у противоположной стены, и на полках над ним были разложены всевозможные вещи, точно в ссудной кассе: мешочки, свертки материй, обрезки меха, медная посуда, железные и деревянные шкатулочки, склянки, банки, ящички, — одним словом, полная хозяйственная лаборатория. На окне, в уголке, скромно стояла грошевая чернильница с пожелтевшим гусиным пером, которым Пружинкин сочинял векселя, условия и предъявления ко взысканию. Марфа Петровна, надев медные очки на самый кончик носа, с трудом могла подписать свою фамилию. Эту невзрачную каморку-кладовую отлично знали самые богатые моховские коммерсанты, являвшиеся сюда со слезными просьбами об отсрочках, бланках и новых займах. Пружинкин играл в этих сделках не последнюю роль, получал деньги и хранил непоколебимое никакими соблазнами молчание. Он вполне подчинялся авторитету старухи и никогда не задумывался над мыслью, что она эксплуатирует его самым бессовестным образом.

— А у нас теперь дело так и кипит, — объяснял Пружинкин после необходимых предварительных пустяков. — Настоящее колесо пошло, Марфа Петровна.

— Это ты насчет земства?

— О Павле Васильиче собственно... И откуда такой необнакновенный человек, подумаешь, взялся? Мальчонкой еще, можно сказать, их знавал, когда в гимназии происходили... да-с. И вот жил-жил человек, у всех на глазах жил, а никому в ум не вошло, какая в нем, в Павле-то Васильиче, силища. Всех кругом окружил... златоуст!

— Краснобай! — грубо ответила Марфа Петровна и нахмурилась.

— Нет-с, Марфа Петровна, уж вы позвольте-с... Это дело даже совсем особенное-с. Вот Анна Ивановна девица, а и они весьма чувствуют... Сердце радуется со стороны глядеть.

— Н-но-о?

— Совершенно верно-с! Как же-с, сижу я, например, в собрании, а Анна Ивановна с генеральшей Мешковой передо мной сидят, и Павел Васильич с ними разговаривает... Да... Нынче и женский пол, Марфа Петровна, своего достигает, даже девица, которая, можно сказать, чувствует себя в полной форме...

— Ума своего не хватает, так и ходит слушать чужие глупости! — с сердцем проговорила старуха. — Вот и вся твоя Анна Ивановна. Краснобайничать Павел Васильич мастер, да толку из этого никакого не выйдет.

— Почему же это толку не будет? — обиделся Пружинкин, подбирая ноги под стул.

— А потому... Летать твой Павел Васильич летает, а садиться не умеет. Из-за чего он язык-то треплет? Ежели бы чин какой заслужил, медаль на шею, ну, хоть бы светлые пуговицы, а то ведь совсем зря болтается. Да и просто уж очень у вас все: поговорил, поболтал, а оно все и сделается само, как по писаному.

— Позвольте, Марфа Петровна! Сама генеральша Мешкова ездит, соборный протопоп... два столоначальника... жена прокурора...

— И ездят смотреть, как на именинника!

— Это кто же именинник-то?

— А все он же, Павел Васильич твой...

Пружинкин был огорчен. Меткое слово попало ему прямо в сердце. И ведь скажет же эта Марфа Петровна....

— Что́? Не поглянулось? — злорадствовала старуха и даже сама засмеялась, что с ней случалось нечасто. — Не любите правды-то? Вот еще какой-то доктор навязался... Книжки гражданской печати возит Анне Ивановне... как же... А всему этому делу главная заводчица — эта генеральша Мешкова. В ней вся причина. Собрала около себя разных пустомель и утешается. Все ведь я знаю...

Огорченный Пружинкин чуть было не поссорился с озлобившейся старухой, но в самый критический момент в комнату вошла Анна Ивановна и потушила бурю одним своим появлением.

— Легка на помине... — ворчала Марфа Петровна, с ожесточением перешвыривая по столу какие-то подозрительные узлы, какие

попадают в полицию с крадеными вещами и разными вещественными доказательствами.

— Что́ такое случилось? — спросила девушка, останавливаясь в дверях.

— А так-с... Сущие пустяки-с, Анна Ивановна, — бормотал Пружинкин, поднимаясь со стула.

— Не виляй хвостом-то, старый греховодник! — не унималась вошедшая в азарт старуха. — Все вы заодно...

Анна Ивановна поняла, в чем дело, и улыбнулась своей хорошей улыбкой. Она была такая свежая сегодня и смотрела на мать таким вызывающе-снисходительным взглядом.

— Пойдемте ко мне, мы здесь мешаем маме, — спокойно проговорила она. — У меня есть дело.

— Могу-с, Анна Ивановна... Для вас все могу-с, — обрадовался Пружинкин такой счастливой развязке.

IV

«Ай да барышня! Как она мамыньку-то свою поворачивает!» — думал Пружинкин, идя вслед за Анной Ивановной.

В злобинском доме все комнаты были маленькие и теплые, с дешевенькими обоями, придававшими им такой уютный домашний вид. Из комнаты Марфы Петровны они по темному коридорчику прошли в гостиную со старинной, точно опухшей мебелью, и Анна Ивановна на мгновение остановилась в нерешительности. Но потом она прямо пошла из

гостиной в свою комнату, выходившую двумя окнами в сад.

— Вот садитесь здесь, Егор Андреич, — сказала она деловым тоном, указывая на стул около письменного стола.

Пружинкин молча занял кончик стула, что делал по свойственной ему вежливости, и внимательно оглядел всю комнату. Письменный стол помещался между окнами; в углу — этажерка с книгами, на полу — ковер; у внутренней стены, за низенькой ситцевой ширмочкой, пряталась длинная и узкая железная кровать. Гардероб и мраморный умывальник скрывались за большой старинной печкой, дамский рабочий столик и швейная машина, небольшой синий диванчик и круглый столик перед ним дополняли обстановку. На письменном столе в бархатных рамках стояло несколько фотографий, чернильница, кучка книг и какие-то тетрадки.

— Пречудесно! — вслух подумал Пружинкин и прибавил: — Извините меня, Анна Ивановна, на простом слове: как это вы с мамынькой-то, то есть уж очень как будто просто. Строгость у вас прежде была в дому еще от покойного родителя, а тут вдруг...

— Мы с мамою постоянно воюем... — с улыбкой ответила Анна Ивановна, поправляя сбившиеся на выпуклый белый лоб пряди мягких и шелковистых русых волос. — Да и я уж большая, Егор Андреич.

— Так-с, это вы верно-с... А ведь я вас, Анна Ивановна, еще совсем ребеночком знавал, когда вы изволили около стульчиков учиться ходить. Да, много время прошло. Тя-

тенька-то ваш, Иван Карпыч — не тем будь помянут — карахтерный был человек, как и Василий Анфимыч Сажин. Помните старика?

— Не совсем... Помню только, что всегда боялась его, когда он приходил к нам...

— Старинные были люди-с, крепкие... и... и... — При последних словах Пружинкин осторожно оглянулся и прибавил вполголоса: — Конечно, по-человечеству оно жаль всякого человека, Анна Ивановна, а только по-ихнему, по-старинному-то никак невозможно-с! Теперь уж другое-с... Вот вы и в гимназии выучились, и книжки у вас, и в собрании бываете-с. Да-с! Взять даже пустяки: пришел человек, и вы его прямо в свою комнатку... Господи!.. да при живности-то Ивана Карпыча разве это возможно было? У них в дому-то все шепотом говорили!

Анна Ивановна смотрела на своего гостя удивленными глазами и точно боялась ему поверить на слово: он угадал ее собственные мысли, с которыми она привела его в свою комнату, чтобы отвоевать у матери еще крошечный уголок домашней свободы. Она была в том же сером платье, в котором ходила на земские собрания, а добавлением служил только широкий кожаный пояс, который она любила носить дома. Назвать красавицей Анну Ивановну было нельзя, но это неправильное и характерное лицо было полно своеобразной прелести: чистый, развитой лоб, небольшой русский нос, строгая складка в разрезе рта, мясистый с ямочкой посредине подбородок и простой, глубокий взгляд темных больших глаз придавали ей типичный вид

раскольничьей красоты, сохраняющейся только в старинных семьях. Смущенная этим неожиданным разговором Пружинкина, девушка после неловкой паузы проговорила:

— Мне нужно было поговорить с вами, Егор Андреич, относительно школы, которую мы думаем открывать в Дрекольном-Мысу.

— В Теребиловке?

— Да.

— То есть это в каком же смысле открывать школу, Анна Ивановна?

— В самом обыкновенном: населения в вашей Теребиловке больше двух тысяч, и ни одной школы. У нас составился небольшой кружок...

— Анна Ивановна, голубчик...

— Прежде всего, вопрос заключается в квартире. На первый раз будет достаточно, если найдется помещение человек на тридцать. Вы, надеюсь, не откажете нам в своем содействии?

— Анна Ивановна, да я для вас из земли вырою за одно ваше словечко: уж очень хорошее ваше слово-то! Всякий о себе хлопочет, о своем кармане, а другие-то все пропадай пропадом! Так-с? Ах ты, господи, вот до чего я дожил!

Старик ужасно взволновался и только разводил руками, не зная, как ему высказать стеснившиеся в его голове мысли. Девушка смотрела на него и не могла себе объяснить этого волнения, вызванного такой ничтожной причиной. Лицо у Пружинкина покраснело, и он несколько раз принимался поправлять душившую его косынку.

— Я перед вами в том роде, как бывает человек в отсутствии ума, — бормотал он довольно бессвязно. — А что́ дорого: вот вы сидите, Анна Ивановна, в этой самой комнате — и сыто, и одето, и пригрето, и никакой заботушки... Так бы и век свековали, а у вас уж другое на уме. Чужие слезы и до вас дошли... Теперь взять хоть нашу Теребиловку: непокрытое место, а тоже живые люди. Глупость ихнюю жаль... темноту эту самую. А ежели бы вы, да я, да другой-третий стали эту темноту, например, достигать?.. Умных людей много, а вот надо прийти к глупым-то людям с кротостью, с ласковым словом... с чистотой.

У Пружинкина в голосе стояли слезы. Он сам плохо помнил, что рассказывал Анне Ивановне: об избитых женщинах, которых лечил Чалко, о несчастных детях, вырастающих на улице, как бездомные собаки, о той жизни, где нужно добывать кусок хлеба воровством; наконец, о своих проектах, с которыми он толкался по богатым мужикам. Анна Ивановна слушала его, опустив голову. Она теперь понимала то, что он хотел высказать, и сама заразилась его волнением.

— Все я к Павлу Васильичу думаю толкнуться, — говорил Пружинкин на прощанье. — Есть у меня до него дельце, только боюсь помешать...

— Отчего же? Он будет вам рад... Даже, если хотите, я могу с ним переговорить.

— Нет, нет, Анна Ивановна!.. Это какой человек! Ему теперь впору со своими делами управляться, а мы уж потом... Большому кораблю большое и плавание, а мы около бе-

режка. Беречь надо Павла-то Васильича,— таких людей больше и нет...

Когда Пружинкин ушел, Анна Ивановна долго сидела у письменного стола, охваченная совершенно новым для нее чувством, точно больной, на которого пахнуло свежим воздухом. Она не заметила даже, как в комнату вошла Марфа Петровна, остановилась в дверях и долго смотрела на нее, не говоря ни слова.

— Ну, доченька, хочешь быть умнее матери, видно...— заговорила старуха своим грубым голосом.

— Что такое, мама?

— А такое... Какой же это порядок в дому, ежели ты к себе в комнату силом будешь мужчин затаскивать? Погоди, вот сперва выдь замуж, тогда и своя воля будет...

— Будет, мама, я уж это слыхала.

— А разве так разговаривают с матерью? Я стою перед тобой, а ты сидишь, как прынцесса. Еще образованная называешься. Кабы жив был отец-то, так не посмотрел бы на тебя, а взял бы да за косу...

Произошла грубая домашняя сцена. Марфа Петровна раскричалась и даже топала ногами, а потом быстро перешла в слезливое настроение и принялась причитать, что к ней уж совсем не шло. Девушка молчала, не возражая ни одного слова. Лицо было совсем бледное, руки похолодели.

— Что же ты молчишь, как пень?—наступала Марфа Петровна с новым приливом энергии.—Думаешь, и управы на тебя не найду: силом замуж выдам!.. в мешке обвен-

чаю!.. О чем тут с Пружинкиным-то шепталась?.. Какие такие у вас дела могут быть?.. У того, дурака, и смолоду ума не бывало... Ну, чего молчишь?..

— Да ведь вы, мама, слышали наш разговор...

Марфа Петровна плюнула и, хлопнув дверью, ушла. Она действительно подслушивала весь разговор в замочную скважину, подкравшись к дверям в одних чулках. По раскольничьей политике, самому Пружинкину она и виду не показала, а распрощалась с ним даже с особенной нежностью. Анна Ивановна была свидетельницей всей этой обыденной лжи и переживала одиноко какое-то тупое чувство гнетущей тоски. Грубая сцена, последовавшая за этим, служила только необходимым дополнением, и она ждала ее. За внешним благообразием и суровыми добродетелями в злобинском доме весь уклад жизни держался всецело на самодурстве и лжи. Даже то добро, которое выходило из этого дома, неизбежно пропитывалось этими основными началами. Взятая в дом круглая сирота Агаша каждый день проходила через круг самой утонченной домашней пытки, причем Марфа Петровна не оставляла живого места в ее душе. Унижать другого, заставлять его постоянно чувствовать свое безответное ничтожество и вообще выматывать душу разными пустяками — все это составляло неизбежный обиход жизни в злобинском доме и изо дня в день проходило пред глазами Анны Ивановны. Девушка старалась не думать о матери, чтобы не подымать в душе чувства

отвращения. Наученная горьким опытом, Агаша в присутствии Марфы Петровны делала оторопело-безответное лицо, научилась льстить и лгать — одним словом, входила быстро в этот заколдованный круг, из которого не было выхода. Но Агаша в одно прекрасное утро могла уйти из дому и сейчас же нашла бы себе другое место и кусок хлеба, а «барышня» была лишена и этого утешения, да она и не хотела уходить. Бежать от зла — слишком простое средство.

Воспоминание об отце у Анны Ивановны ограничивалось чувством непреодолимого страха, которым скован был весь дом. Старик Злобин являлся здесь чем-то вроде завоевателя и неумолимого судьи, пред которым все трепетало. Анна Ивановна отлично помнила то чувство, какое переживала еще маленькой девочкой в присутствии отца: она чувствовала себя такой виноватой и несчастной даже в те редкие моменты, когда отец хотел ее приласкать. Это же чувство страха и собачьего смирения воспитывалось по раскольничьим молельням, куда женщины являлись, повязанные платочками, и прятались за деревянной перегородкой. Суровые старики-начетчики и еще более строгие наставницы поддерживали это угнетенное настроение и давили своим авторитетом уже всю общину. Как из этой обстановки Анна Ивановна могла попасть в женскую гимназию, она хорошенько не могла себе объяснить даже сейчас. Отец приехал откуда-то с ярмарки, рассорился с женой и назло ей отдал дочь учиться. В гимназии было много бедных девочек и просто сирот,

но как завидовала им Анна Ивановна, хотя, наученная домашним искусом, сумела сдерживать в себе все порывы и проявления наболевшего чувства. Там, в кругу других детей, она в первый раз узнала, что есть другая жизнь и что можно жить на свете без страха. В душе маленькой девочки вырос, таким образом, свой заветный уголок, в котором она прятала свои детские мечты.

К этим воспоминаниям остается только добавить характерный эпизод смерти Ивана Карповича, о котором Марфа Петровна особенно любила рассказывать всем своим знакомым, чтобы вызвать в них участие к покойнику. У Злобина был приказчик на мельнице, который украл каких-то два несчастных мешка муки. Иван Карпович сейчас же полетел на мельницу и произвел собственноручную расправу.

— Могутный был человек из себя, — рассказывала Марфа Петровна: — ну, бил-бил приказчика, разгорелся и сейчас два ковша воды со льдом выпил... Умаялся, сердечный, до смерти и в землю от проклятого приказчика ушел: застудился от воды-то.

К этому Марфа Петровна могла бы добавить, как Иван Карпович волочил ее по всему двору за волосы и несколько раз принимался топтать ногами. Может быть, теперь она на других вымещала все то, что получила сама, как это и бывает. Лично для Анны Ивановны гнет матери был гораздо хуже отцовского страха: последний действовал с передышками, и в минуты затишья самые загнанные и несчастные могли дышать свободно, а Марфа

Петровна давила последовательно, как давит стальная пружина или наваленный камень. Кончить курс Марфа Петровна дочери не позволила и взяла ее из пятого класса, чтобы приучить к «домашности». Девушка опять попала в четыре стены, и только счастливый случай вывел ее на свежий воздух, о чем будет речь впереди.

Настоящее сосредоточивалось в неунимавшейся мелкой домашней войне, где силы враждовавших сторон истощались в мелочах и пустяках. Анне Ивановне стоило нечеловеческих усилий, чтобы выйти из положения цепной собаки, и каждый свободный шаг покупался самой тяжелой ценой. Но и в этой жизни было свое светлое и хорошее, что придавало девушке силы и открывало будущее впереди. В городе она пользовалась репутацией одной из самых богатых невест, и Марфа Петровна со слезами на глазах повторяла:

— Одна ведь у меня дочь... Как зеница ока. Для кого я хлопочу да бьюсь как рыба об лед?

V

У подъезда сажинского дома постоянно стояли экипажи, так что швейцар Семеныч, выходивший на тротуар выкурить с кучерами «цыгарку», не без основания жаловался:

— Все пятки я отколотил себе с этим земством!..

Конечно, это говорилось только так, для форса, а в действительности Семеныч был очень доволен той выдающейся ролью, какую

теперь играл его барин, и по-своему пользовался обстоятельствами: одних посетителей вежливо приглашал прямо наверх, других просил обождать, а третьим с лакейской грубостью кричал: «Куда пре-ошь?!» и захлопывал дверь под самым носом. В результате такой деятельности получались двугривенные и пятиалтынные, обильно сыпавшиеся в карман Семеныча.

— Мы теперь в председатели земской управы поступили... — хвастал он, когда по вечерам был уже «с мухой» и усиленно мигал красными опухшими веками...

Скромные посетители, запуганные Семенычем, попадая наверх, где была приемная, испытывали самое приятное изумление. Сажин принимал всех одинаково, с утонченной вежливостью, и самый маленький человек в его присутствии забывал свою ничтожность. Приемная помещалась в большой зале со старинной мебелью красного дерева и раскрашенным потолком. Стены были голые, кроме той, где висела плохая копия брюлловского «Последнего дня Помпеи». Из приемной одна дверь вела в кабинет хозяина, другая в гостиную, а третья в коридор, из которого, смотря по надобности, можно было попасть в библиотеку, где стоял бильярд, столовую, спальню и запасную комнатку, не имевшую определенного назначения и служившую, по провинциальному обычаю, приютом «заночевавшего» гостя. Сажинский дом славился гостеприимством, даже при отце Павла Васильевича, который не отличался особенной мягкостью характера.

Прежде всего нужно сказать, что Сажин был не женат, хотя уже близился к критическому возрасту. Поэтому в обстановке всего дома чувствовалась известная пустота и недостаток настоящей жизни. Всем хозяйством заправляла старушка экономка Василиса Ивановна, очень степенная и даже сердитая особа, которая держала двух горничных, кухарку и дворника в ежовых рукавицах. Кучер и швейцар Семеныч раньше тоже находились под ее игом, но, попав в земство, заняли до некоторой степени независимое положение. Василиса Ивановна жила в нижнем этаже, в уютных низеньких комнатках, и редко поднималась наверх, чтобы не видеть этой холостой пустоты, резавшей ее сердце. Заветной мыслью старушки было, чтобы Павел Васильич женился, но год шел за годом, а громадный сажинский дом все стоял без хозяйки. «Уйдет, видно, сажинский род на перевод», — печально думала Василиса Ивановна, когда по вечерам в своей гостиной вязала какой-то бесконечный чулок. Ее пугала водворявшаяся в доме вечерняя тишина, когда Павел Васильевич уезжал в театр или куда-нибудь в гости. Деловая суета, внесенная в дом событиями последнего времени, не особенно радовала старушку, и она не причисляла себя к земству, как делал Семеныч.

— Оно, конечно, хорошо, что́ и говорить, да только... — Василиса Ивановна не договаривала, что́ «только», и углублялась в свой чулок, точно хотела ввязать в него свою упорную старушечью мысль.

Утро у Сажина уходило как-то между рук:

на письма, газеты и скучную возню с посетителями. После легкого завтрака он уезжал в управу и возвращался домой только к пяти часам, когда его ждал уже готовый обед и кто-нибудь из близких знакомых, являвшихся запросто. Их было всего трое: артиллерийский офицер Белошеев, чиновник контрольной палаты Куткевич и библиотекарь Щипцов. Доктор Вертепов в этот счет не шел, потому что был просто своим человеком и располагался здесь как у себя дома. Все были ужасно заняты, и самым удобным временем для бесед служило время обеда. На обязанности Щипцова было сообщать последние журнальные новости; Куткевич следил за администрацией, а Белошеев, в качестве «ученого друга», имел полное право отмалчиваться. Самым главным членом кружка являлся Вертепов, давший обществу хлесткую кличку «молодого Мохова». Все очень уважали друг друга, и время проходило очень весело, благо материала для самых оживленных бесед было совершенно достаточно. В сажинской столовой доставалось и ветхозаветным моховским чиновникам, и полиции, и самому губернатору. Каждая чиновничья плутня, последняя консисторская взятка, во тьме кромешной совершенная полицейская порка — все отдавалось здесь, как в резонаторе, а затем в столичные газеты летели бойкие корреспонденции.

— Нам нужно свою газету, господа!.. — провозгласил однажды доктор Вертепов в столовой. — А редактором будет Щипцов... У него бойкое перо, и дело пойдет. Тогда мы всех подтянем...

Щипцов, хромой и самолюбивый господин с умным лицом и окладистой бородой, открыл в Мохове, года два назад, публичную библиотеку, и за ним сразу установилась почему-то репутация самого опасного человека. Может быть, это объяснялось некоторой таинственностью, с какой он делал самые обыкновенные вещи, а потом благодаря его резким выходкам и интеллигентной физиономии. Чтó ни говорите, а внешность имеет громадное значение, а в то время полного разгрома всяких авторитетов она играла первую роль. Предложение издавать газету Щипцов принял довольно сдержанно и дал, между прочим, понять, что это было его давнишним желанием, но что он выжидал времени.

Куткевич был «из пострадавших» в какой-то истории, о которой никто хорошенько ничего не знал, но это обстоятельство придавало ему большой вес, и он умел пользоваться своей репутацией. Его белокурая голова, откинутая назад, очень нравилась моховским дамам, особенно когда он декламировал некрасовские стихи на благотворительных спектаклях. Рядом с небрежно одетым Щипцовым он являлся просто щеголем. Смелые серые глаза и неопределенная улыбка тонких губ придавали ему в самых горячих спорах неуязвимый вид.

Последний член «молодого Мохова», Белошеев, был рыхлый и плечистый господин с близорукими глазами и странной привычкой постоянно облизывать губы. Про него говорили, что он пишет какое-то необыкновенно ученое сочинение, а так как это было горячее

время всевозможных общественных вопросов, то явилось само собой убеждение, что Белошеев пишет «социальную вещь».

За обедом всего больше говорили доктор Вертепов и сам хозяин. Остальные слушали и удивлялись. Да и было чему удивляться, начиная с того, что Мохов распался на целый ряд партий: старая чиновничья, губернаторская, купеческая, земская; даже была партия клубная или капернаумская, как ее окрестили местные остряки. «Молодой Мохов» стоял вне этих партий или, вернее сказать, старался так поставить себя.

— Прежде всего нужно создать общественное мнение, ту почву, на которой можно стоять твердо, — ораторствовал Сажин, с удовольствием прислушиваясь к собственным словам. — Потом следующая задача — организовать провинциальное печатное слово... Это — великая сила!.. Этим путем мы не только будем всецело владеть земством, но и подготовим дорогу новому суду, который не за горами.

Сажин верил в себя и в свою миссию. Его безжизненное лицо оживлялось, зеленоватые глаза блестели, и он любил рассуждать, шагая по комнате и заложив руки в карманы брюк. Легко доставшийся успех, говоря правду, вскружил ему голову. Раньше он был простым партикулярным человеком, до которого никому не было дела, а теперь он стоял на виду у всех, и каждое его удачное слово облетало весь город. Гласные благоговели пред ним, дамы встречали признательными

улыбками и ухаживали за ним, как за божком.

Оставаясь один и перебирая в уме воспоминания недавнего времени, Сажин увлекался сам своими успехами. Он любил думать на эту тему и откладывал в письменный стол корреспонденции, где говорили о нем. Сажина узнает вся Россия... В нем нарастала земская сила и заключались надежды будущего. Мохов был захвачен волной движения шестидесятых годов и еще договаривал то, что в столицах уже начали забывать. Все жили тихо и мирно, получали двадцатого числа жалованье, торговали, судились по старым судам, скучали, сплетничали, играли в картишки — и вдруг все точно с ума сошли. Щипцов открыл первую публичную библиотеку; новые книжки журналов шли нарасхват, в гостиных везде велись умные разговоры, и все смотрели вперед так бодро и уверенно, ожидая, что вот-вот случится что-то такое, совсем особенное, чего раньше не было и не могло быть. Открытие моховского земства совпало с моментом наисильнейшего напряжения общественной мысли, давая хоть какой-нибудь выход застоявшимся силам, и Сажин сделался первым земским человеком. Его встречали везде с распростертыми объятиями, заискивали перед ним и даже льстили без всякой побудительной причины.

Кончив курс в университете, Сажин года два жил без всякого дела в Мохове, а потом уехал за границу, тоже без всякой цели. Он побывал в университетских городах Германии, объехал Францию, пожил в Швейцарии

и Италии, а затем вернулся через три года опять в Мохов. Домой его призывали разные хозяйственные дела. После отца Сажину досталось большое состояние и торговля. Последнюю он ликвидировал и жил на проценты с капитала. Но это было временно, пока,— и Сажин перебирал разные предприятия, куда бы он мог вложить свои деньги. Юридическое образование в этом случае давало ему немного. Сажин-старик наживал деньги по грошам, пока не добрался до крупной железной торговли. Это был умный и даже начитанный по-своему человек, но жил он не по-людски — последние десять лет он выходил из дому только по делам. По своему происхождению старик принадлежал тоже к федосеевской секте, как и семья Злобиных, но, потеряв жену довольно рано, начал сторониться от всех и кончил полным отчуждением. В своем доме он бродил по пустым комнатам, как тень, читал газеты и развлекался только слабостью к дорогим курам. Василиса Ивановна, как говорили, имела на него большое влияние, хотя заменить жены и не могла. Когда-то она мечтала попасть наверх в качестве законной жены, но эти надежды не сбылись, и даже в своей духовной неблагодарный старик оставил экономке, точно в насмешку, самую ничтожную сумму, хотя она в последнее время ухаживала за ним, как за ребенком. Старик боялся смерти, капризничал и напрасно искал утешения в ночных беседах с разными наставницами и начетчиками.

Перебирая отцовские бумаги, Сажин сделал открытие, что старик страдал самой мод-

ной болезнью, именно мировой скорбью. Подчеркнутые места и заметки на полях книг, а затем разные отрывки в записной книжке, которые заносил старик время от времени, убедили его в этом окончательно. Целых десять лет в совершенном одиночестве выбаливала проснувшаяся душа, и светлым лучом в этой живой смерти являлась только мысль о жене, которую Василий Анфимович любил неумиравшею любовью. Может быть, если бы она была жива, это чувство стерлось и заменилось бы простой привычкой, но преждевременная смерть жены усилила прерванное чувство и довела его до экзальтации. Особенно увлекался старик мистическими книгами, в которых говорилось о тайном сродстве душ, о жизни за гробом, о разных необыкновенных случаях, когда являлись души умерших людей, и т. д. Василиса Ивановна терпеть не могла этих проклятых книг и была глубоко убеждена, что именно они помешали ей сделаться женой Василия Анфимыча. Сажин-сын догадывался об отношениях отца к экономке, но всегда держал себя с ней очень внимательно.

Теперь, когда по вечерам никого из посторонних не было, Сажин спускался пить чай к Василисе Ивановне и любил с ней болтать о разных разностях.

— Кто вам больше нравится: Щипцов или Белошеев? — спрашивал он, чтобы пошутить...

— Оба лучше... — сердилась Василиса Ивановна. — Нигилисты какие-то!..

— Однако какие страшные слова вы знаете, Василиса Ивановна.

Чтобы не остаться в долгу, старушка очень ловко заводила разговор о женитьбе, что всегда сердило Сажина.

— Я не понимаю, Василиса Ивановна, что вам-то за охота женить меня? — удивлялся он. — Если женюсь, так, пожалуй, жена-то и выживет вас же из дому...

— А я и уйду... Много ли мне нужно?..

— Так о чем же вы беспокоитесь?

— Об вас беспокоюсь, потому что это не порядок... Живой о живом и думает, и какая польза от старых-то холостяков: живут только добрым людям на смех.

Заветной мечтой старушки было женить Павла Васильевича на Аннушке Злобиной, хотя она этого прямо и не высказывала. В ней говорила теперь та неудовлетворенная жажда жизни, которая стремится дожить неиспытанные радости в других. Доказательством особенной чистоты побуждений Василисы Ивановны служило то, что Марфа Петровна относилась к ней очень нехорошо, как к «наложнице» старика Сажина, и не упускала удобного случая очень ядовито пройтись на ее счет. Когда вскрыли завещание после Василия Анфимыча, Марфа Петровна первая не только оправдала его подачку экономке, но обрадовалась этому совершенно искренно, как законному возмездию блуднице.

VI

Вопрос о газете быстро подвигался вперед. Сажин вел усиленные переговоры со Щипцовым, который, для сохранения автори-

тегности, порядочно ломался. Эти соглашения обыкновенно происходили за завтраком в сажинском доме. Раз, когда они таким образом сидели с глазу на глаз в столовой, Сажин совсем взбесился и довольно резко заметил:

— Наконец, я вас не понимаю, Антон Федорович, не понимаю, что вам собственно нужно от меня!.. Вы тянете, не договариваете и, видимо, чего-то домогаетесь... Лучше всего дела вести прямо, особенно нам, людям одних взглядов и убеждений. С своей стороны, кажется, я сделал решительно все, что от меня зависело: взялся выхлопотать сам разрешение издавать газету, открываю вам неограниченный кредит и предоставляю, наконец, если вы этого пожелаете, со временем купить все издание по частям. Что я еще могу сделать?

Щипцов выслушал эту реплику, не шевельнув бровью, а Сажина бесило больше всего именно это деревянное спокойствие.

— Видите ли, Павел Васильевич, тут есть одно обстоятельство... гм... — тянул Щипцов с видом человека, поднимающего громадную тяжесть. — Вы упустили из виду пустяки... то есть пустяки с вашей точки зрения. Я говорю о том чувстве нравственной зависимости, в которую поставит меня, по отношению к вам, материальная сторона дела... Да... Теперь я совершенно независимый человек, вольная птица, а тогда я буду думать каждый день: моя газета издается на деньги Сажина. Согласитесь, что это кого угодно убьет!

— Но ведь вы ничем не связаны и всегда можете бросить газету?

— А труд, который я в нее вложу?

По характеру Щипцов принадлежал к тем невозможным людям, которые будут с вами соглашаться, будут принимать ваши доводы и в момент, когда вы считаете дело законченным, они непременно скажут: «Так-то оно так, а все-таки...» Приходится начинать снова сказку о белом бычке или махнуть на все рукой. Но Сажин зашел слишком далеко, чтобы развязаться со Щипцовым этим простым способом. В городе уже говорили о газете, да и перед своими приятелями Сажину было бы неловко, хотя политику Щипцова он и начал предугадывать.

— Я полагаю, что нам вообще это дело необходимо решить так или иначе, — стараясь сдержать себя, заговорил Сажин. — Конечно, газету иметь приятно, но, ввиду такой нравственной пытки, какую она будет составлять для вас... Одним словом, я желал бы вопрос решить сейчас же.

— Пал Васильич, вас спрашивает один человек! — доложил Семеныч, останавливаясь в дверях с недовольным видом.

— Да кто такой? Говори, пожалуйста, толком.

— Так-с... из мещанского звания. С бумагой, говорит, пришел...

Всякое величие тяжело, и Сажин начинал испытывать это на собственной коже. Ему хотелось кончить проклятый разговор со Щипцовым, но и «человек с бумагой» имел право на его внимание. Нельзя было выпроводить его в шею, как это делают квартальные и консисторские секретари. Прежде всего необходимо стоять на высоте своего положения.

— Ничего, я вас подожду... — проговорил Щипцов, выигрывавший время.

Сажин торопливо прошел в переднюю, где «человеком с бумагой» оказался наш старый знакомый Пружинкин.

— Чем могу служить вам? — довольно сухо спросил Сажин.

— Я-с... Вот-с, изволите ли видеть, Павел Васильич... — бормотал Пружинкин, торопливо развертывая трубочку с бумагами. — Извините, пожалуйста... но ведь, ежели человек ждет несколько лет и терпит...

Солидный вид старика произвел на Сажина успокаивающее впечатление, и он пригласил его в приемную.

— Садитесь, пожалуйста, — предложил он уже другим тоном, указывая на кресло.

— Ничего-с, постоим-с, Павел Васильич, — заговорил Пружинкин уже смелее и очень внимательно оглядел комнату. — Бывал я здесь, когда еще ваш папенька здравствовали. Карахтерный были человек-с!

Сажин из принципа всех принимал одинаково, и в его доме все были равны. У старика Сажина по целым часам Пружинкину приходилось выжидать где-нибудь в кухне или в передней, а тут с первого слова «пожалуйте», и Павел Васильевич даже своими собственными руками придвинул кресло. Пока Сажин перелистывал бумаги, Пружинкин немел от восторга: он сидит в кресле, и Павел Васильевич сидит в кресле, сидит и просматривает его бумаги. В одном месте он остановился, несколько раз пробежал глазами по одной строчке и через бумаги внимательно посмот-

рел на Пружинкина. Это невольное движение заставило последнего вытянуться, точно в него прицелились.

— Что же вам собственно нужно от меня? — спросил Сажин, складывая бумаги на стол.

— Мне-с? Мне ничего-с не нужно, Павел Васильич, а только осчастливьте взглянуть... потому как было сижено и весьма думано.

В подтверждение своих слов Пружинкин даже ударил себя кулаком в грудь и опять вдруг замер, а Сажин опять взялся за бумаги.

— Я вашего папеньку, Василия Анфимыча, можно сказать, весьма хорошо знал и вот здесь, в этой самой комнате, несколько раз бывал, — заговорил Пружинкин, оправляясь от своего столбняка. — Мебель будто у вас теперь другая, вот óбраза нет в переднем углу... Как же, все помню!

— Очень рад... но позвольте...

— Карахтерные были старички... — не слушал Пружинкин, умиленный воспоминаниями. — У них весь дом был на запоре, в том роде, как крепость, и уж никого не пустят без своего глазу-с. Тоже вот слабость была к воробьям. Например, у них на грядке в огороде горох-с был посажен, а воробьям это, конечно, любопытно. Ну а Василий Анфимыч соорудили чучелу, да шнурочек и провели от чучелы к себе в кабинет. Бывало, молятся, псалтирь вслух читают, а сами глазком в огород и сейчас чучелу тряхнут за шнурок-с.

— Извините, я занят.

— Виноват-с, заболтался, Павел Василь-

ич. Вы только мои бумажки прочитайте, потому как теперь нужно темноту достигать, и все уж по-настоящему-с.

— Хорошо, я прочитаю, а вы как-нибудь зайдите, — обрадовался Сажин поводу отвязаться. — У вас какие-то проекты... да?

— Да-с... Обо всем есть, потому как всякий обязан свою лепту, например... А прежде всего, конечно, навоз, Павел Васильевич! Помилуйте, ведь скоро дохнуть будет нельзя: со всех сторон Мохов-то обложили навозом, а от этого выделяется аммиак, одним словом, всякий вред-с. Между тем в навозе мы теряем целое богатство: приготовлять туки, выделывать селитру, да мало ли что?

— Это, видите ли, относится к городу, а не к земству.

— Точно так-с, но я к слову сказал. А как вы относительно полиции полагаете, Павел Васильич? Например, зачем свое зверство оказывать?.. Если живого человека по скуле или в самое причинное место... Главное, зачем же уродовать человека?

— Вы собственно чем занимаетесь? — спрашивал Сажин, провожая разговаривавшего гостя до передней.

— А так, Павел Васильич, разными делами-с... Марфа Петровна меня весьма знают... Марфа Петровна Злобина. Суседи еще с вами будут. И Василиса Ивановна наверно помнят, потому как я к Василию Анфимычу тоже захаживал.

Пружинкин, раскланиваясь, допятился было до самых дверей, но еще раз вернулся и проговорил с какой-то детской наивностью:

— Павел Васильич! Какой вам господь талант открыл: так до самого сердца проникаете, когда эту темноту начнете теснить. Преотлично...

Эта последняя выходка окончательно рассмешила Сажина, и он вернулся в столовую к Щипцову с улыбавшимся лицом, повторяя: «Первое дело — навоз!» Щипцов посмотрел на него с недоумением и нахмурился.

— Удивительные люди на Руси бывают! — заговорил Сажин, позабыв о газете. — Это уж не первый такой прожектер ко мне является... Простой мещанин, какой-то Пружинкин, а, видимо, человек из кожи лезет. Тут и костяной завод, и фабрикация канатов из крапивы, и приготовление искусственных туков, а в конце концов непременно человек кончит perpetuum mobile, как все наши самоучки. Уморил он меня. «Первое дело — навоз!» Ха-ха! А на вид такой степенный человек и может говорить складно.

— Чему же вы так радуетесь? — спрашивал Щипцов, ероша бороду. — Мало ли на свете дураков!

— Нет, это не то. Человеку некуда девать свои силы, нет выхода, вот и являются разные иллюзии и несбыточные желания. Может быть, из того же Пружинкина вышел бы полезный человек, если бы пристроить его к делу, а теперь он будет только мечтать.

Вопрос о газете и на этот раз остался недоконченным. Щипцов скоро ушел, рассерженный легкомыслием «премьера», как он называл про себя Сажина, и находил это слово очень колким. Через несколько дней Пру-

жинкин явился за ответом и в передней вступил с Семенычем в настоящее ратоборство.

— Куды пре-ошь?! — кричал швейцар, стараясь загородить дорогу наверх. — Этак всякий будет приходить! Надо и честь знать!

— Это не твое дело, хам! — ругался Пружинкин, стараясь оттолкнуть Семеныча. — Не к тебе пришел! Погоди, вот я объясню Павлу Васильичу, как ты двугривенные собираешь!

У Семеныча от этой угрозы опустились руки. Он почувствовал себя кровно обиженным и только мог проговорить:

— Вот еще язва-то навязалась. А?!

Пружинкин успел за это время взбежать наверх и уже несколько раз внушительно кашлянул в передней. Он опять замер, заслышав шаги Сажина, который вынес ему в переднюю все бумаги.

— Вы затрагиваете вопросы общественного характера, — объяснял он торопливо, — но необходимо подождать. Не наступило еще время. Поверьте, что я первый сделаю все, что будет от меня зависеть.

— Так-с, Павел Васильич... А как же, например, Теребиловка?

— Когда очередь дойдет до вашей Теребиловки, тогда мы поговорим с вами об этом, а теперь земству до себя только впору!

— Это совершенно верно-с, Павел Васильич! И относительно навоза тоже?

— Да, и навозу придется подождать!

Несмотря на такой неблагоприятный оборот дела, Пружинкин явился к Сажину в третий раз, причем он проник в дом через «по-

ловину» Василисы Ивановны и таким образом очень ловко обошел Семеныча. Он явился с каким-то частным известием, касавшимся земства, но Сажина эта навязчивость взбесила. Его время не принадлежало ему, а этот сумасшедший начинает эксплуатировать его вежливость. Необходимо было разом покончить это дело, и, выслушивая болтовню Пружинкина, Сажин перебирал в уме разные способы вежливо прогонять людей, притом выгонять так, чтобы они потеряли всякую охоту явиться в другой раз. Сажин даже раскрыл рот, но в этот момент его осенила счастливая мысль, и он с улыбкой проговорил:

— Подождите одну минуточку... Я сейчас.

— Могу-с, Павел Васильич!

В своем кабинете Сажин с улыбкой набросал своим размашистым почерком целое письмо и, заключив его в узенький, плотный конверт, вернулся в приемную.

— Вот вам письмо, господин Пружинкин! — проговорил он, подавая письмо. — С ним вы отправитесь к Софье Сергеевне Мешковой.

— К генеральше? Слышал и знаю-с их, то есть по видимости. Они с Анной Ивановной еще школу хотят в Теребиловке открывать, и я им квартиру подыскал.

— Вот и прекрасно! А Софья Сергеевна уже скажет вам, что делать...

— Покорно вас благодарю, Павел Васильич. Я живой ногой к их превосходительству оберну.

Заручившись письмом от самого Павла Васильевича, Пружинкин спустился вниз к Ва-

силисе Ивановне, оделся, но на улицу вышел не двором, а через подъезд. Семеныч был взят неприятелем с тыла и опять растерялся.

— Чтó, взял, хамово отродье? — торжествовал Пружинкин, помахивая письмом у Семеныча под носом. — От самого Павла Васильича!

Ничего не знавший старик заплакал бы от огорчения, если бы прочитал то, что писал Сажин генеральше:

«Посылаю вам, в виде сюрприза, одного из одолевающих меня сумасшедших... Найдите средство избавить меня от него или его от меня, а то я попал в самое дурацкое осадное положение. В ваших маленьких руках тысячи средств сделать самого опасного человека безвредным, и в то же время ваш зоологический сад обогатится еще одним интересным экземпляром. Может быть, предъявитель будет вам даже полезен».

VII

Генеральша жила на Монастырской набережной, в двух шагах от городского сада, упиравшегося своими липовыми аллеями прямо в реку Наземку. Одноэтажный каменный домик поглядывал на улицу своими пятью окнами с таким сытым довольством, как только что пообедавший человек.

На обитых зеленой клеенкой дверях подъезда белели две визитные карточки: «Софья Сергеевна Мешкова» и «Владимир Аркадьевич Ханов». Пружинкин, если бы пришел без письма, то постарался бы проникнуть в дом

каким-нибудь задним ходом, но теперь он чувствовал себя до некоторой степени официальным лицом и позвонил. Где-то точно под землей раздался дребезжащий серебристый звук, и Пружинкин испугался собственной смелости. Выскочившая на звонок франтиха горничная сердито оглядела гостя с ног до головы и остановилась в выжидающей позе.

— Ангельчик, генеральша дома? — умильно заговорил Пружинкин и, показывая уголок письма, прибавил: — От Павла Васильича письмецо... в собственные руки их превосходительства.

— Подождите, — ответил ангельчик и скрылся.

Пружинкин, не торопясь, разделся в большой и светлой прихожей, посмотрел на себя в зеркало и прокашлялся. Скоро послышались легкие, короткие шажки, и в зале показалась сама Софья Сергеевна, одетая в какое-то ослепительно белое матине. Пружинкин шаркнул ножкой и, вступив в залу, очень галантно раскланялся.

— От Павла Васильича... в собственные руки-с... — бормотал он, пока генеральша нетерпеливо рвала конверт своими маленькими ручками.

Пробежав письмо глазами, она заметно покраснела, закусила нижнюю розовую губку и молча попросила Пружинкина следовать за ней.

— Дарьица, ты подашь нам кофе в гостиную, — лениво проговорила Софья Сергеевна, по пути поправляя перед зеркалом кое-как собранные узлом волосы. — Извините,

господин Пружинкин, я не знаю, как вас по имени-отчеству.

— Егор Андреевич, ваше превосходительство, — ответил Пружинкин, выступая по паркету с такой осторожностью, точно он шел по стеклу.

Дарьица сердито прошумела своими накрахмаленными юбками и остановилась в дверях гостиной, чтобы еще раз посмотреть на странного гостя, которого барыня вела прямо в гостиную. Генеральша только что успела подняться с постели, и от всей ее маленькой фигурки так и веяло непроснувшейся ленивой красотой. Это была очень изящная маленькая женщина с очень милой грёзовской головкой, обрамленной какими-то детскими кудряшками, эффектно оттенявшими белизну ее точе́ной шеи. Маленькие уши красиво прятались в шелковой волне волос, как две розовых раковины. Руки и ноги генеральши Софьи Сергеевны, по отзывам настоящих знатоков, были верхом совершенства, а голубые большие бесхарактерные глаза смотрели из темной бахромы ресниц с беззащитной наивностью. Одевалась она всегда к лицу, и если бы не чисто женская полнота, то ее можно бы принять в тридцать лет за девочку-подростка. Близкие знакомые называли Софью Сергеевну «грёзовской генеральшей». Перечислением указанных выше достоинств мы пока и ограничимся, тем более, что и сама Софья Сергеевна в описываемое нами время даже стыдилась своих маленьких женских преимуществ: быть красивой куклой, игрушкой и забавой в руках мужчины, по меньшей

мере, гнусно, как чистосердечно уверяла сама генеральша. К недостаткам Софьи Сергеевны — увы, людей без недостатков нет! — между прочим, относили ее институтскую привычку закатывать глаза и вообще делать те маленькие «движения», которые так недавно признавались неотъемлемым признаком женственности.

Квартира Софьи Сергеевны была обставлена довольно беспорядочно, а большая зала, где стоял рояль, даже поражала своей пустотою. В маленькой гостиной оставалась обитая голубым шелком дорогая мебель, но тут же торчали простые венские стулья и самый топорный шкаф с книгами. Сама хозяйка в окружавшем ее беспорядке являлась приятным диссонансом.

— Садитесь вот сюда, Егор Андреевич, и побеседуем, — говорила Софья Сергеевна, усаживая гостя в глубокое кресло. — Я очень рада с вами познакомиться.

— От Анны Ивановны наслышан был довольно о вас, ваше превосходительство... — бормотал старик.

— Вы знаете Нюту?!

— Помилуйте, даже весьма хорошо! Я и квартиру для школы в Теребиловке оборудовал, ваше превосходительство, а Анну Ивановну еще младенцем на руках нашивал.

— В таком случае, мы будем с вами совсем друзьями, — с веселой улыбкой говорила Софья Сергеевна, показывая глазами появившейся с кофе Дарьице, чтобы она подавала сначала гостю.

— Дарьица, Владимир Аркадьевич спит?

— Нет, проснулись и... — горничная недоговорила, а генеральша чуть заметно нахмурилась.

Пружинкин два раза обжегся горячим кофе и готов был то же самое сделать в третий, чтобы вызвать ласково-снисходительную улыбку генеральши, нежившейся теперь на диване, как только что разбуженный котенок. Она, делая крошечные глотки из китайской чашечки, внимательно расспросила его о занятиях, о Теребиловке, о Павле Васильевиче, еще раз о занятиях и заключила этот допрос словами:

— У меня к вам тоже будет дело, Егор Андреевич, и, может быть, даже не одно. Вы ведь не откажетесь помогать мне?

— Я-с? Ваше превосходительство, да я не то что помогать, я буду прямо вашим рабом!

Этот ответ очень понравился Софье Сергеевне, и она посмотрела на Пружинкина уже совсем ласково, как умеют это делать женщины, которые сознают собственную силу. Вошедший в гостиную толстый старик не дал ей докончить начатую фразу.

— Ma petite, вы сегодня восхитительны, как никогда, — хрипло проговорил вошедший, прикладываясь к ручке.

— Скверно то, что этот комплимент повторяется каждый день.

— Но солнце тоже поднимается каждый день!

— Позвольте познакомить вас, господа: мой дядя Владимир Аркадьевич, Егор Андреевич Пружинкин... — отрекомендовала генеральша, поднимаясь с места.

Старик щелкнул каблуками и отвесил Пружинкину низкий поклон. Его хитрые и злые глаза на время скрылись в улыбке, расплывшейся по жирному опухшему лицу.

— Еще сын народа, если не ошибаюсь? — проговорил Ханов, пожимая руку Пружинкина с особенной нежностью.

— Из Теребиловки-с, Владимир Аркадьевич.

— Господа, вы тут побеседуете пока, а мне нужно одеться, — говорила генеральша и сделала дяде глазами выразительный знак.

— Хорошо, хорошо, мы тут познакомимся, — ответил Ханов, усаживаясь в кресло. — Да вот что, ma petite, нельзя ли послать нам того... коньячку... С кофе это превосходно выйдет для первого раза.

Софья Сергеевна только пожала плечами и вышла, а Ханов откинулся на спинку кресла и захохотал. Это был среднего роста, плотный и заплывший жиром старик с короткими руками и вросшей в плечи большой головой. Широкое скуластое лицо, с открытым лбом и прямым носом, принадлежало к тому разряду лиц, которые не забываются. Редевшие на голове волосы он стриг под гребенку и носил бороду, которую подкрашивал каким-то рыжим составом. Длинные, пожелтевшие от табаку усы и крепкие, широкие зубы дополняли общий вид «дяди». Серая осенняя пара сидела на нем довольно небрежно, но с тем шиком, как умеют одеваться застарелые щеголи. В городе Ханов слыл за поврежденного, который выкидывал время от времени совершенно невозможные штуки. Пружинкин, ко-

нечно, слыхал о нем и даже знал его в лицо, поэтому переживал теперь, оставшись с глазу на глаз, неприятное беспокойство, точно Софья Сергеевна унесла с собой его радостное настроение. Так они просидели друг против друга минут пять, не проронив ни одного слова. На всякий случай Пружинкин взял в руки свой картуз и нерешительно кашлянул. Когда Ханов вскидывал на него свои волчьи глаза, старик потуплялся и начинал смотреть куда-нибудь в сторону.

— Из мещанского звания? — хрипло спросил Ханов, показывая зубы.

— Точно так-с... из Теребиловки.

— Значит, по воровской части промышляете?

— Зачем же, Владимир Аркадьевич... Не все воры и в Теребиловке!

— Может быть, прежде воровали, если теперь считаете невыгодным?

— Не случалось...

— Ну, зачем скромничать, друг мой? Кстати, рыжих женщин вы любите? У нас до Дарьицы жила такая, рыженькая Пашица... очень миленькая девчонка, только Соня ее выдворила. У женщин, знаете, всегда свои необъяснимые капризы и странности. Я выражаюсь вежливо, потому что нынче и у вас в Теребиловке женская эмансипация завелась.

— Как вы изволили выразиться?

— Респирация, то есть оккупация или прострация... ха-ха! Ах ты, лесовор, лесовор! Ученых слов не понимаешь, а лезешь с своим мещанским званием в салон к Софье Серге-

евне, где коловращаются самые умные люди. Ну, зачем ты сюда-то залез, сын народа?

Разговор принимал довольно острую форму, и Пружинкиным овладела малодушная мысль спастись бегством, но в этот критический момент Софья Сергеевна вернулась, одетая в простенькое темное шерстяное платье и в таком же кожаном поясе, какой носила Анна Ивановна. По выражению лица Пружинкина и по вертящемуся в его руках картузу она поняла все.

— А мы тут так приятно провели время с господином Пружинкиным,— предупредил ее Ханов.— Да, очень... И представьте себе, ma petite, какой это развитой субъект, и, entre nous, с этаким народным запахом... виноват, я хотел сказать: духом. Не правда ли, господин Пружинкин?

— Да-с, точно, был такой разговор, Владимир Аркадьевич!

— Вот что, Владимир Аркадьевич: приехала Прасковья Львовна, и я думаю, что тебе остается одно средство спасения — бежать...— проговорила генеральша, заглянув в окно на стук подъехавшего экипажа.— И, кажется, не одна.

Ханов сделал беспокойное движение, но в зале уже послышались шаги, и в гостиную вошла сама Прасковья Львовна, одетая в мужской костюм: бархатные шаровары и канаусовую голубую рубашку. Белокурые жиденькие волосы были острижены, как стригут мальчиков-подростков; правильный прямой нос оседлан черепаховым пенсне. Мужской костюм скрадывал ее высокий рост и разви-

тые формы. За ней развалистой ленивой походкой шла черноволосая румяная и ужасно толстая девушка с совершенно круглым лицом.

— А, приятный мужчина, бегающий за горничными! — обратилась Прасковья Львовна прямо к Ханову. — Ну что, как ваши дела? Мне рассказывали, что вы занимаетесь нынче расписываньем разных неприличных слов по заборам, мимо которых ходят гимназистки... Вы остаетесь себе верны, милый мужчина!.. Для оправдания своих гадостей вам остается только прикидываться блаженненьким и дурачком.

Не обращая внимания на съежившегося Ханова, Прасковья Львовна расцеловала генеральшу («лизаться» было ее слабостью, несмотря на мужской костюм и напускную грубость) и крепко, по-мужски пожала руку Пружинкина, который только шаркнул ножкой и крякнул.

— Докторша Глюкозова, — отрекомендовалась она сама, залезая на диван и указывая на свою спутницу: — а это — барышня Клейнгауз. По-русски это значит: маленькая избушка... Ничего, девка славная, хоть и с дурацкой немецкой фамилией.

Клейнгауз не проронила ни одного слова и только улыбалась, точно стеснялась своим пышущим здоровьем. «Вот так избушка, — подумал Пружинкин, соображая, что ему теперь самое время уйти. — Целая хоромина... Ай да барышня!»

— Вы куда это собрались, Егор Андреевич? — остановила генеральша, когда Пру-

жинкин поднялся. — Нет, нет, я вас не отпущу... оставайтесь завтракать с нами. Анна Ивановна будет... У нас все свои, и никто не должен стесняться.

— А вы водку пьете? — спросила Глюкозова, в упор глядя на Пружинкина.

— Нет-с, я к этому не подвержен-с...

— Ну, так мы с Владимиром Аркадьевичем черкнем... Он только на это и годится.

— Эмансипация... прострация... аккомодация!.. — бормотал Ханов с каким-то дурацким видом.

«Вот так дама... ловко!.. — думал Пружинкин, наблюдая униженного притеснителя. — Без ножа зарезала мужика...»

VIII

Пружинкин еще раз попробовал отказаться от завтрака, но генеральша взяла его под руку и увела в столовую.

— Вот сюда садитесь, — указывала она ему место рядом с собой. — Ведь вы у Злобиных, наверно, не отказываетесь?..

— Да, то есть нет-с... Случалось, еще когда Иван Карпыч были в живности.

— Этот сын народа просто глуп!.. — ворчал Ханов, усаживаясь рядом с Клейнгауз.

— Если вы опять будете доставать ногами вашу соседку, как это вы делали в прошлый раз, — предупреждала его m-me Глюкозова, делая выразительный жест, — я надеру вам уши!.. Понимаете?..

— Аккомодация... субординация!..

Подававшая блюдо с холодной телятиной

Дарьица вся покраснела от душившего ее смеха, а Ханов, ободренный ее вниманием, придвинул незаметно стул, так что его жирное плечо навалилось на плечо Клейнгауз. Девушка взглянула на него через очки, но Прасковья Львовна уже тащила шалуна прямо за ухо и посадила рядом с Пружинкиным.

— Вы мне напоминаете одно животное, о котором за столом говорить не принято, — бранилась Прасковья Львовна, наливая себе рюмку водки.

— А мне-то! — просил ее Ханов.

— Вам еще рано, а то налижетесь прежде времени... Я сегодня намерена наслаждаться музыкой и пением.

Генеральша не обращала никакого внимания на эти сцены и продолжала заниматься Пружинкиным, который ее заинтересовал, как интересовало вообще все новое. Этот старик, вышедший из глубины настоящей народной среды, являлся просто находкой, и Софья Сергеевна улыбалась, припоминая остроумное письмо Сажина. Ей нравилось, как Пружинкин смущался, обдергивал рукава и неумело держал вилку. Прасковья Львовна заметно покраснела после второй рюмки и серьезно занялась «печальной необходимостью наполнять желудок». Клейнгауз пила воду стакан за стаканом и еще сильнее краснела, чувствуя на себе пристальный, дикий взгляд Ханова, который самодовольно улыбался, пользуясь отсутствием надзора своей гонительницы.

К концу завтрака с шумом явились два «нигилиста» — Петров и Ефимов, одетые в косоворотки из дешевенького ситца, в высо-

кие сапоги и сомнительные пиджаки. Оба нечесаные, с ногтями в трауре и странной привычкой жать руки до боли. За ними пришел учитель гимназии Курносов, рыжий господин с какими-то остановившимися белыми глазами, и молоденькая девушка, по фамилии Володина. Эта последняя была некрасива и сгорблена, с тонкой шеей, выдающимися лопатками и криво сидевшим воротничком, но на ее болезненном сером лице время от времени появлялась такая милая и симпатичная улыбка. Пружинкина удивляло, как все эти гости держали себя просто, точно пришли к себе домой, и на него не обращали никакого внимания, будто он каждый день сидел за этим столом. Мужчины сейчас же закурили самодельные вертушки из дешевого табаку и надымили до того, что Пружинкин закашлялся, как попавший в овин теленок.

— Нигилисты проклятые! — громко ругался Ханов, уже не боявшийся больше Прасковьи Львовны. — Из эпохи кринолинов мы попали прямо в историю цивилизации Моховского уезда... с дымом махорки.

— Вы не любите табачного дыма, ветхозаветный человек? — обратился к нему Курносов. — Не так воспитаны...

— Да, как вы не любите французского языка, господин нигилист, — огрызался Ханов. — Прострация... ассимиляция...

— Господа, как вы думаете, кто положил в карман верхнего пальто Володиной неприличные фотографии? — спрашивал Ефимов, в упор глядя на съежившегося Ханова. — Таких господ бьют...

— Нет, это уже слишком! — возмутился Ханов, вскакивая с места.

— На воре шапка горит... — прибавил Петров, — помещичьи вожделения сказываются у расслабленного старца.

— Послушайте, господа, я предлагаю перейти в залу, — заявила генеральша, ласково обнимая покрасневшую остатком крови Володину. — Я думаю, что это будет удобнее...

Гости не слушали хозяйки и очень энергично занялись остатками завтрака, так что генеральше пришлось самой уйти из столовой. За ней последовали Пружинкин и обе девушки. Прасковья Львовна подсела к Курносову и принялась шептать ему что-то на ухо; Ханов продолжал ругаться с нигилистами, называя их санкюлотами и «базарчиками»: последнее слово он производил от фамилии Базарова. Пружинкин опять начал прощаться, но генеральша опять его не пустила и заставила сесть в гостиной на то же голубое кресло.

— Вы вот что мне объясните, Егор Андреевич, — говорила она, расхаживая по комнате маленькими грациозными шажками, — откуда у нас явились умные люди?..

— Это точно-с, ваше превосходительство... весьма достойно удивления-с.

— Обратите внимание: стоял глухой губернский город, и вдруг... Я уж не говорю о таких людях, как Сажин, — такие головы являются столетиями, — а возьмите Ефимова, Петрова, Курносова; наконец, Прасковья Львовна, наши девицы: Клейнгауз, Володина,

раскольница... Мы называем раскольницей Анну Ивановну.

— А вы забыли, Софья Сергеевна, доктора Вертепова? — заметила Клейнгауз, — это тоже голова... Щипцов, Белошеев, Куткевич...

— Что касается доктора... — тянула генеральша, делая легкую гримасу, — мне кажется, что доктор очень много думает о себе, и, кроме того, он рисуется... Уверяю вас, я сама видела это на последнем земском собрании, а для мыслящего реалиста, по меньшей мере, смешно... Конечно, Петров и Ефимов немножко эксцентричны, но зато какой искренний народ. Вы незнакомы с ними, Егор Андреевич?

— Я-с... Не случалось раньше встречаться, а, кажется, слышал-с где-то.

— Это совсем новые люди, которые отказались от всего, — убежденно продолжала Софья Сергеевна, в тон своей речи похлопывая рукой по столу. — Петров работает в кузнице, Ефимов заводит мелочную торговлю на Черном рынке, чтобы устроить конкуренцию нашим кулакам. Не правда ли, какая оригинальная идея?.. И вообще, если разобрать наших людей, откуда они вышли, получаются удивительные комбинации: вот Клейнгауз, например, дочь простого вестфальского немца-столяра, Володина — дочь квартального... Ведь удивительно, Егор Андреич?

— Конец темноте, ваше превосходительство! — восторженно ответил Пружинкин.

— Послушайте, зачем вы величаете меня превосходительством? — ласково выговаривала Софья Сергеевна. — Во-первых, все люди равны, а во-вторых... и над вами и надо

мной будут смеяться, потому что разные эти чины — самый глупый предрассудок. Вы, пожалуйста, постарайтесь забыть, что мой муж имел чин действительного статского советника!..

— Это невозможно-с, ваше... то есть, Софья Сергеевна.

— Генеральшей я остаюсь только для одной Марфы Петровны, потому что это нужно пока... Да вон легка на помине и наша раскольница.

В гостиную, действительно, входила Анна Ивановна, розовая с холоду, в своей меховой шапочке на голове. Заметив Пружинкина, она остановилась и вопросительно взглянула на Софью Сергеевну.

— Что это вы так поздно, крошка?.. — заговорила генеральша. — А у меня новый гость, которого вы знаете...

— Очень рада... — ответила Анна Ивановна, здороваясь со всеми. — Я к вам заехала на минуточку.

— Старуха опять капризничает? — осведомилась Софья Сергеевна. — Придется, видно, мне опять ехать и укрощать ее.

— Мне сегодня вечером не удастся приехать к вам... — продолжала Анна Ивановна, торопливо роняя слова. — Курносов будет читать?

— Да, сегодня ботаника... Я не понимаю, что это делается с Марфой Петровной: уж раз пустила, так к чему еще новые церемонии?.. — негодовала генеральша, обращаясь ко всем.

— Вы не знаете их, Марфы-то Петровны,

ваше... гм... — вступился было Пружинкин и замялся. — Весьма карахтерные женщины...

— И пусть будет «карахтерная» для себя, а нас оставит в покое!

— Я думаю, что это неинтересно, — заметила Анна Ивановна, — слишком старая история... Притом это касается больше всего меня.

— Позвольте, раскольница, мы тоже не можем допустить угнетения свободной личности... Это противоестественно!..

Анна Ивановна как-то бессильно посмотрела на Пружинкина и неловко замолчала. Генеральшу потребовали в столовую, где поднялся порядочный гвалт, и неприятный разговор прекратился сам собой. Анна Ивановна заговорила о новой теребиловской школе и отрекомендовала Володину как будущую учительницу, а про себя заметила вскользь, что будет помогать по возможности. Толстая Клейнгауз начала расспрашивать о квартире для школы, потом принялась настаивать на особенной важности воскресных классов, где могли бы учиться большие.

— Сейчас Ханов будет петь... шш! — предупредила появившаяся в дверях Прасковья Львовна.

В зале уже слышались пробные сильные аккорды, которые брала умелая мужская рука. Ханов играл по слуху с эффектными взмахами рук, как играли старинные пианисты. Под свой аккомпанемент он сначала спел «Ça ira...», а потом громовой руладой перешел к «Allons, enfants de la patrie...» Сильный надтреснутый голос брал могучие ноты с захватывающей энергией, и Анна Ивановна

каждый раз чувствовала, как от этого пения у нее по спине пробегала жгучая холодная струйка, заставлявшая ее вздрагивать. В окна уже смотрели быстрые зимние сумерки, но никто не думал об огне. Прасковья Львовна стояла у окна спиной к публике и глотала слезы — после двух рюмок она сделалась особенно чувствительной и всегда сердилась на свою бабью нервность. Послышавшиеся дружные аплодисменты заставили Пружинкина неприятно вздрогнуть. Клейнгауз подсела к нему и переводила вполголоса пропетую фразу.

— Ведь это подлость: так хорошо петь и быть таким мерзавцем!.. — бранилась Прасковья Львовна, ударив Ханова по плечу. — Ведь нужно чувствовать, чтобы так петь... Да, чувствовать!..

— Я и чувствую, эмансипация... — хрипло отвечал Ханов. — Только видите ли, госпожа эмансипация, я пою о великом народе, о святых людях, а вы все — чирки и недоноски... Вас всех еще нужно много и долго бить, чтобы получился настоящий esprit fort.

Мужчины подхватили Ханова под руки и увели в столовую, где его уже ожидала налитая рюмка водки. Генеральша ходила по залу с Анной Ивановной и вполголоса рассказывала, какое отрадное впечатление произвел на нее Пружинкин и как она полюбила его с первого раза.

— Нам именно таких людей и нужно, раскольница! — повторяла Софья Сергеевна с разгоревшимся лицом. — Ведь вы его давно знаете?..

Анна Ивановна тоже была рада и в корот-

ких словах передала, что́ такое Пружинкин, и, между прочим, что он человек не от мира сего, и что Марфа Петровна его сильно эксплуатирует.

— Кстати, с каким смешным письмом послал его ко мне Павел Васильевич, — не утерпела генеральша и передала Анне Ивановне письмо. — Это только я вам показываю, голубчик, и никому другому.

Пробежав письмо, девушка молча возвратила его и как-то сбоку посмотрела на генеральшу.

— Не правда ли, как забавно написано? — спрашивала Софья Сергеевна.

— Признаться, я этого не нахожу... Я считала Павла Васильевича... несколько другим человеком. Чувствуется какая-то неискренность, фальшь...

— Да ведь он писал это наскоро, притом был уверен, что его не выдадут... В самом деле, человек завален делами, и его же одолевают разные ненужные люди. Поймите, раскольница, и поставьте себя на его место!..

— Я знаю только то, что на его месте никогда не позволила бы себе подобной выходки.

Генеральша очень огорчилась и капризно надула свои розовые губки. Она ожидала совсем не такого эффекта, и эта раскольница просто придирается к ней.

— Я вечно попадусь в историю со своей доверчивостью!.. — говорила она, когда Анна Ивановна стала прощаться. — Мне нельзя давать интимных поручений.

Анна Ивановна предложила Пружинкину

довезти его до Черного рынка, — ей нужно было заехать в какую-то лавку. Старик чувствовал себя таким усталым и разбитым. Ему сделалось как-то просто больно, как человеку, хлебнувшему лишнего.

— Вам не понравилось у генеральши, Егор Андреич? — спрашивала Анна Ивановна, когда они уже подъезжали к рынку.

— Не то чтоб не понравилось, Анна Ивановна... Может быть, я не понимаю, стар стал...

Девушка сдержанно замолчала, точно она боялась, что Пружинкин скажет сейчас то, о чем она боялась думать даже одна.

— Это вам с первого раза немного дико показалось, — заговорила она, когда экипаж остановился, — но тут были прекрасные люди, как Прасковья Львовна или Курносов... Наконец, сама Софья Сергеевна такая добрая душа.

— Уж это что говорить, Анна Ивановна: добры, можно сказать, свыше всякой меры... Ихнее дело, конечно, а мне удивительно, как это Марфа-то Петровна допустила вас в такую компанию?

В ответ на эти слова Анна Ивановна только улыбнулась.

IX

Знакомство генеральши с Марфой Петровной состоялось довольно оригинальным образом.

В Мохове генерал Мешков был приезжим человеком; он явился откуда-то из внутренних

губерний. Может быть, он уехал из родных мест отчасти потому, что женился стариком на молоденькой эксцентричной девушке, не имевшей ни роду, ни племени. Такой неравный брак в насиженном родном углу мог сделаться источником тех мелких неприятностей, которые отравляют жизнь даже действительных статских советников. Сам генерал был человек аккуратный, деловой и добрый, желавший кончить свои дни самым мирным образом. В Мохове никого из старых знакомых не было, значит, некому было поднимать всю генеральскую подноготную и допытываться, что и как. Эти расчеты оправдались, и моховский beau monde встретил генеральскую чету, как комбинацию очень оригинальную, и только. Софья Сергеевна отлично одевалась, окружила себя избранным обществом, позволяла немного ухаживать за собой, но оставалась примерной женой и, показываясь в обществе с мужем, поражала всех своим счастливым, улыбающимся видом. Муж относился к ней, как к ребенку, и снисходительно дежурил в театре и клубе, когда Софья Сергеевна хотела веселиться.

Но у генерала случились какие-то неприятности по службе, потом он сам прибавил себе простуду, провожая жену в театр, и дело кончилось тем, что старик слег в постель, вылежал столько времени, сколько полагалось, выпил аккуратно все лекарства, какими отравляют последние дни умирающих, и в назначенный докторами день умер так же аккуратно, как и жил.

— Sophie... берегись... ты еще так моло-

да... — были последние слова умиравшего действительного статского советника, который силился сказать плакавшей жене еще что-то, шевелил языком, дергал рукой и наконец бессильно закрыл глаза навсегда.

Лечил старика доктор Глюкозов, добродушный и молчаливый господин; он присутствовал при этой сцене и невольно подумал: «Да, скверно умирать, когда остается такая молодая жена... Гм! Все может быть...» Софья Сергеевна рыдала, как ребенок, потерявший отца, а утешал ее один доктор Глюкозов, потому что ни родных, ни особенно близких знакомых в Мохове у генерала не было.

— Бывает, Софья Сергеевна... да... — говорил доктор, отпаивая генеральшу холодной водой, — так уж наша жизнь устроилась... гм... да... Послушайте, я пошлю к вам жену, а то одной вам оставаться в таком горе както неловко.

Явившись на свой пост, Прасковья Львовна сначала отнеслась к «аристократке» свысока, но потом забыла свою демократическую роль и вошла в положение молоденькой красавицы вдовушки. Выждав время, она объяснила довольно грубо, что, собственно говоря, тут и убиваться не о чем; этот брак был самым несправедливым социальным явлением, а в физиологическом отношении он был преступлением... Нет любви, нет и брака, а старик, женившийся на ребенке, — это отвратительно! Тронутая этим участием и грубоватой откровенностью, Софья Сергеевна должна была согласиться, что Прасковья Львовна права, и рассказала свою несложную исто-

рию. Она была незаконной дочерью одного волжского помещика, который держал у себя целый крепостной гарем. Мать умерла после родов, а ее выкормила какая-то отставная «метресса». Помещик-султан, желая отвязаться от мозолившей глаза девчонки, отдал ее в один из тех пансионов, где воспитываются забытые всеми дети и где устраиваются такие неравные браки, как и в данном случае: шестнадцати лет Софья Сергеевна вышла за старика, которому было пятьдесят с хвостиком.

— Хороши эти негодяи-мужчины, нечего сказать! — возмущалась Прасковья Львовна, — и папенька хорош, а муженек еще лучше... О, мерзавцы!..

На мужа перенесла Софья Сергеевна те неиспытанные чувства, которыми освещается детство, и, когда его не стало, она почувствовала известную пустоту и плакала о добром старике, который оставил ей порядочное состояние. Потихоньку же от Прасковьи Львовны генеральша выписала себе папашу, которым был, как читатель догадывается, уже знакомый нам Ханов. Старик к этому времени успел промотаться до зла-горя, и помощь прилетела к нему в самую злосчастную минуту. Он явился в Мохов и поселился у дочери под именем «дяди». Небольшие карманные деньги Ханов проигрывал в клубе, а через год Софье Сергеевне предъявили целый букет векселей, выданных милым папашей. Вот по этому делу ей и пришлось в первый раз отправиться к Марфе Петровне, которая при случае скупала дешевые «вексельки».

Произошла интересная сцена, когда гене-

ральша заявила желание выкупить у Марфы Петровны хановские векселя.

— Для чего же их вам, ваше превосходительство? — удивлялась хитрая старуха.

— Да так... Не хочу обманывать людей, которые доверяли дяде, — объяснила Софья Сергеевна: — теперь его знают, и в другой раз это не повторится. Я уже предупредила кого следует...

— Так, так... Что же, дело хорошее, ваше превосходительство.

Марфа Петровна никак не могла постичь тех дочерних чувств, прилив которых нахлынул на грёзовскую генеральшу: она имела полное право не выкупать векселей, а делала это, чтобы чувствовать себя хорошей дочерью. Это было в ее характере.

В результате получилось то, что генеральша сразу очаровала неприступную старуху, мерившую людей и весь мир на медные деньги. Прежде всего Марфу Петровну поразило генеральское благородство: ни за что ни про что выбросила ей целых три тысячи, да еще ее же благодарит. Потом, ведь Софья Сергеевна — настоящая, заправская генеральша, а как просто себя держит. Расчувствовавшаяся старуха пожалела ее раннее вдовство и по пути рассказала трогательную историю смерти Ивана Карповича. Одним словом, произошло то необъяснимое сближение противоположных натур, которое встречается иногда. Софья Сергеевна даже заехала раз напиться чаю совсем запросто и здесь познакомилась с Анной Ивановной.

— Уж вы извините нас, ваше превосходи-

тельство, — рекомендовала Марфа Петровна свою дочь, — мы люди простые...

Генеральша расцеловала Анну Ивановну и развеселилась как-то уж совсем по-детски. Ей нравилась у Злобиных именно та семейная обстановка, которой она не испытала. Такие славные маленькие комнатки, такие смешные цветы на окнах, такая милая горничная Агаша, такие смешные старинные чашечки, в каких подавали чай, и такая милая старушка Марфа Петровна, которая даже краснела от удовольствия, когда Софья Сергеевна принималась ее целовать. Анна Ивановна долго дичилась и как-то недоверчиво отнеслась к новой знакомой, пока Софья Сергеевна не победила ее своей детской искренностью.

— Этакая приворотная гривенка эта генеральша! — рассуждала Марфа Петровна сама с собой. — И ловка, надо ей честь отдать...

Вообще Софья Сергеевна быстро завоевала расположение недоверчивой раскольницы-старухи, трудно сходившейся с людьми. Эта оригинальная связь потом окрепла и развилась в прочное и хорошее чувство. Марфа Петровна откладывала каждый кусочек получше, приговаривая: «Ужо вот приедет наша-то генеральша, так побаловать ее», надевала свои лучшие сарафаны, когда ждала эту гостью, и не могла сделать только одного — это самой съездить к генеральше в гости, как та ни звала ее к себе. Были моменты, когда старуха уже соглашалась, даже надевала самый тяжелый сарафан и шелковую рубашку с узкими длинными рукавами, но потом ее охватывало прежнее чувство робости,

и она только повторяла: «Где уж нам, мужичкам, с настоящими господами водиться... Какие-то у них там паркеты, пожалуй, еще упадешь!»

— Я удивляюсь, мама, что́ вы особенное нашли в Софье Сергеевне? — спрашивала Анна Ивановна, не понимая происходившего.

— Как что́ такое? — удивлялась в свою очередь Марфа Петровна. — Да ведь кто такая Софья-то Сергеевна: босоножка какая-то, из милости в пансионе выучилась. Может, и обедала не каждый день, а теперь генеральша. Вот тебе и «особенное»! Небось вот ты и богатая невеста, а генеральшей не сделаешься. Да и мало ли других девок по богатым домам киснет, а вот Софья Сергеевна вышла заправская генеральша. Вон она, как в комнату-то зайдет, — пава да и только, и всякому свое умеет сказать, а при случае и строгость на себя напустит... да, генеральше все можно!..

— Как это все, мама?..

— А так... простой человек всего оберегись, чтобы тебя не осмеяли, а генеральше плевать: к ней же и придут. За спиной-то и про царя разные пустяки болтают.

— Значит, и тебе, мама, хотелось бы быть генеральшей?

— Ну, теперь-то я устарела немножко, а ежели бы раньше... Разве так бы я стала жить да скалдырничать? Ничего ты, голубушка, не понимаешь...

Это странное тяготение Марфы Петровны послужило к тому, что Анна Ивановна могла бывать довольно часто в салоне Софьи Серге-

евны. Правда, старуха сильно ежилась и по целым часам пилила дочь, как уголовную преступницу, но стоило генеральше приехать в злобинский дом — и вся городьба разлеталась прахом.

— Сняла ты с меня голову, ваше превосходительство!.. — выговаривала Марфа Петровна, покачивая снятой головой, — она уже говорила с генеральшей на *ты*. — Хочу рассердиться на тебя, а сердца и нет... Смотри, одна у меня дочь.

— Вы меня обижаете, Марфа Петровна, — капризно отвечала Софья Сергеевна, — точно Анна Ивановна едет бог знает куда... Вы должны меня благодарить, а то я же и пресмыкаюсь пред вами. Конечно, я люблю вашу раскольницу, иначе...

— Вот мужчины у тебя в дому бывают... Оно как будто тово... Кто его знает, что у него на уме-то, у мужика.

Генеральша заливалась своим детским смехом над этими рассуждениями, а Марфа Петровна, чтобы еще больше угодить ей, начинала говорить совсем грубо, как говорила с зависимыми людьми, и даже читала наставления. В ее старых глазах Софья Сергеевна была каким-то особенным существом, к которому обыкновенная раскольничья мерка никак не прикладывалась и которое могло позволять себе все. Смотреть, — так вертушка эта самая генеральша, а со старым мужем целых десять лет прожила, и комар носу не подточит. Овдовела — сейчас заблудящего своего отца выписала, а у самой ни сучка, ни задоринки.

Бывая у генеральши, Анна Ивановна встретилась с теми умными людьми, о которых генеральша рассказывала Пружинкину; Клейнгауз и Володину она знала еще по гимназии. Там читали и обсуждали новые книги, там велись горячие споры, и Анна Ивановна каждый раз увозила домой что-нибудь новое, чего она не знала раньше. В злобинский дом, как весенние птицы, налетели всевозможные хорошие книжки «гражданской печати» и принесли с собой новые песни. Анна Ивановна не принадлежала к числу увлекающихся восторженных натур, но под ее наружным спокойствием скрывалась усиленная работа развивавшейся мысли. Светлое и доброе настроение сменялось припадками малодушия и слабости. Вера в лучшее и в себя разъедалась тысячью мелочных фактов, которые роковой чертой отделяли действительность от нового фантастического мира. Если умные люди, окружавшие генеральшу, резко нападали на недостатки общественного строя, на дореформенные порядки и «ветхого человека» вообще, то Анна Ивановна переносила всю эту рознь на свою внутреннюю жизнь и старалась проверять каждый свой шаг. Отзывчивое молодое сердце теперь болело вдвойне за царившие под родной кровлей хищные инстинкты, хитрость, ложь и самодурство, за добровольное унижение домашней челяди и бедных родственников, наконец, за свое бесправное и бесполезное существование.

Вернувшись от генеральши домой в тот вечер, когда Анна Ивановна встретила там Пружинкина, она почувствовала себя безот-

четно скверно: это письмо Сажина, потом смех Софьи Сергеевны и глупая роль, навязанная недогадливому старику. В результате получалось что-то очень некрасивое, напоминавшее подходцы и выверты Марфы Петровны.

— Может быть, я ошибаюсь... да, конечно, я ошибаюсь!.. —уверяла Анна Ивановна сама себя, расхаживая по комнате.

С Сажиным Анна Ивановна хорошо познакомилась у генеральши года за два до его земской славы, когда он особенно еще не выделялся из среды других знакомых и даже уступал таким полезным специалистам, как Курносов, который читал в салоне курс естественных наук. В случае споров, когда Сажин разбивал всех, его называли софистом. С Анной Ивановной держался он просто, как и с другими, хотя их и сближала общая федосеевская среда и старинное знакомство домами. Было несколько таких случаев, когда Сажин увлекался каким-нибудь разговором с раскольницей, но в самом интересном месте непременно являлась Софья Сергеевна, и Сажин сейчас же переходил в свой обычный, шутливый тон. Девушке казалось, что Софья Сергеевна делалась в его присутствии неестественной и смотрела на него болезненно-пристальным взглядом. Впрочем, когда о Сажине заговорила целая губерния, все дамы волновались в его присутствии, не исключая самой Прасковьи Львовны.

Эти воспоминания и последовавшая земская слава Сажина, которая в салоне генеральши была встречена самым горячим сочув-

ствием, теперь совсем не вязались в голове Анны Ивановны с последними впечатлениями. Получался неясный диссонанс, который сильно ее огорчал, и девушка никак не могла отделаться от преследовавшего ее молчаливого от смущения Пружинкина, который вышел из салона генеральши таким печальным и растерянным.

X

Открытие первой школы в Теребиловке было назначено в воскресенье после Крещенья. Школа открывалась на частные средства, с небольшим пособием от земства. Все хлопоты по устройству помещения взял на себя Пружинкин, и постарался не ударить лицом в грязь. Новая школа стояла на углу Малой и Большой Дрекольной улиц, где прежде был кабак. Большой старый дом был прилично отделан снаружи; стены внутри оклеены дешевенькими обоями, поставлена новая школьная мебель, в окнах появились жестяные вентиляторы, а над крылечком блестела простая белая вывеска: «Начальная школа». Каждый гвоздь, каждая мелочь были обдуманы сотню раз. Внутри школа делилась на четыре комнаты: передняя, из передней направо — мужское отделение, налево — женское, а между ними приютилась маленькая учительская комнатка, которую Пружинкин облаживал с особенным удовольствием, потому что в числе учительниц будут Анна Ивановна и генеральша.

В день открытия Пружинкин с раннего

утра не находил себе места от волнения, хотя все было в исправности. Он десять раз обошел все комнаты, пощупал каждую вещь и постоянно выскакивал на крыльцо, около которого толпились любопытные теребиловцы. Шел легкий снежок, и Пружинкин был очень доволен: хорошая примета.

— Барышни будут учить!.. — объяснил он с крыльца собравшейся публике. — В будни ребятишки будут ходить, а в праздники большие.. Кто хочет грамотным быть, тот и придет... Поняли? Прежде водку сюда ходили пить, а теперь пора ума набираться... Конец, видно, пришел вашей темноте!

Теребиловцев больше всего смущало то, что будут учить «барышни». Что-нибудь да не так!.. Объяснения Пружинкина только затемняли вопрос. Но после обедни, действительно, приехали господа и барышни. Был отслужен молебен и сейчас же открыты классы. Генеральша, Анна Ивановна, Клейнгауз, Володина и Прасковья Львовна отбивали друг у друга работу. Сажин сказал коротенькую прочувствованную речь, в которой объяснил всю важность именно начальной школы и потом значение первого «общественного почина». Народу в комнатах набралось много, а с улицы все напирали, и начиналась уже давка. Доктор Вертепов брезгливо нюхал воздух, дамы сбились в одну кучу и смотрели на теребиловский «народ» с любопытством, смешанным с чувством невольного страха. Молодой священник с короткими волосами и без бороды сидел с Сажиным в учительской. Пружинкин выбивался из сил, выталкивая ротозеев за

дверь и рассаживая будущих учеников на парты. Мужское отделение было совсем полно, а в женском столпились девочки-подростки; баб и взрослых девушек не было.

— Я буду заниматься в мужском отделении, — заявила Прасковья Львовна в учительской. — Вы, Володина, со мной будете, а с бабами пусть остальные возятся...

— А я куда? — спрашивала Софья Сергеевна, беспомощно разводя руками: — лучше будет, кажется, если я останусь тоже в мужском отделении. Не правда ли, отец Евграф? — обратилась она за разрешением к священнику.

— Я советую заняться с мужчинами: они развитее, — посоветовал батюшка, разглаживая свою несуществующую бородку.

— Вы сначала займетесь в мужском, а потом перейдете в женское, — советовал Сажин, — нужно пользоваться указанием опыта...

— По-моему, вы будете только мешать другим, Софья Сергеевна, — пошутил Вертепов, дразнивший генеральшу с утра.

Генеральша вдруг расердилась... Сегодня точно все сговорились, чтобы ее бесить: утром она бранилась с Ефимовым и Петровым, которые наотрез отказались заниматься в школе, потому что одна грамота является паллиативным средством; теперь этот доктор пристает к ней со своими глупыми шуточками. Назло всем она ушла в женское отделение к Анне Ивановне. Человек пятнадцать девочек сидели за партами с какими-то убитыми лицами и только переглядывались, когда учитель-

ницы предлагали им вопросы. Посидев здесь с четверть часа, Софья Сергеевна вдруг почувствовала себя такой лишней и никому не нужной... Она тихонько вышла в переднюю, надела свою шубу и тихонько вышла на крыльцо, где Пружинкин унимал галдевшую толпу.

— Куда это вы, ваше превосходительство? — удивился старик, угадавший по выражению лица генеральши, что дело не ладно: — как же это так-с?..

— Домой, Егор Андреич... Здесь и без меня обойдутся, — с ласковой улыбкой печально ответила Софья Сергеевна. Она была тронута вниманием Пружинкина. — Такие глупые женщины должны сидеть дома...

— Ваше превосходительство... как же это так-с?

Кучер подал лошадь, и генеральша легко порхнула в сани. Пружинкин едва успел застегнуть меховую полость. Проводив глазами сани, старик покачал головой и, вернувшись в школу, покашливаньем вызвал Анну Ивановну в переднюю.

— Софья-то Сергеевна уехали... — шепотом сообщил он, разводя руками, — весьма огорчены-с...

— Чем?

— Не могу знать-с, Анна Ивановна, только дело не ладно-с... Потихоньку собрались — и сейчас домой.

К ним подошел Сажин, провожавший о. Евграфа.

— Это вы, Павел Васильевич, чем-нибудь огорчили Софью Сергеевну?.. — заговорила

Анна Ивановна с удивившей Сажина смелостью. — Она уехала.

— Я? Позвольте... Можно объяснить все гораздо проще, — ответил Сажин довольно развязно. — Софья Сергеевна немножко капризничает... Впрочем, я сейчас могу заехать к ней и постараюсь разъяснить дело. Во всяком случае, надеюсь, особенно страшного ничего не случилось.

Анне Ивановне не понравился тон, каким все это говорилось, и она простилась с Сажиным довольно холодно. Отец Евграф был свидетелем этой маленькой сцены, но отнесся к ней совершенно безучастно, как и ко всему остальному. Он намотал на шею толстый вязаный из красной шерсти шарф, запахнул потертую беличью шубу и неторопливо пошел за Сажиным, который предложил увезти его в город. Доктор Вертепов уехал за ними на своей лошади.

Первый день новой школы сошел почти неудачно. Учительницы устали и были недовольны собой. Когда пробило три часа, они были рады, что все кончилось. Прасковья Львовна устало зевала, а бодрее всех оказалась Володина. Теребиловцы возвращались из школы, нагруженные новыми тетрадками и дешевенькими школьными книжками. Девочки по дороге разбирали все мелочи в костюмах учительниц и были вообще довольны. Провожая учительниц, Пружинкин с особенною нежностью посмотрел на серое лицо Володиной. «Вот эта воз повезет, — думал он, — да разве еще Анна Ивановна, ежели мамынька пустит». В общем старик был, как

и другие, не совсем доволен, хотя и не мог дать отчета самому себе, чем именно: все шло как будто хорошо, и как будто чего-то недостает.

К своему удивлению, когда Анна Ивановна вечером приехала к генеральше, она нашла ее веселой и довольной; Сажин сидел в гостиной с Прасковьей Львовной, и его голос слышен был в передней.

— У меня давеча в этой школе так голова разболелась, — объясняла Софья Сергеевна, предупреждая вопрос, — вероятно, от спертого воздуха...

Когда Сажин появлялся в салоне генеральши, это было настоящим торжеством. Все ухаживали за ним, а дамы преследовали тем вниманием, которое самым умным людям кружит голову. Это идолопоклонство всегда действовало на Анну Ивановну самым неприятным образом, и ей становилось как-то совестно, особенно когда Софья Сергеевна заглядывала прямо в рот своему божку, как это делают оставшиеся без гувернантки дети.

— А те гуси, Ефимов и Петров, и носу не показывают, — говорила Софья Сергеевна, когда все сидели в гостиной.

— Что же, они совершенно правы, — вступился Сажин, вытягивая под столом свои длинные ноги, — первоначальное образование само по себе...

— Ведь он против эмансипации женщин! — перебила его Прасковья Львовна, очевидно, продолжая прерванный разговор.

— Нет, вы меня просто не хотите понять, — с шутливой уверенностью возражал

Сажин: — я не враг ни эмансипации, ни образования — об этом даже странно говорить в наше время. Я говорю не о принципе... но есть некоторые практические противоречия. В самом деле, немного странно ратовать за женский труд, когда русская баба работает как раз вдвое больше русского мужика... Если дело идет о ничтожной кучке женщин привилегированного класса, то для этого не стоит огород городить. Остается, правда, наше tiers état — мелкое чиновничество, прасолы, купцы, попы и мещане, но и тут дело сведется как раз не в пользу женского свободного труда. Могу сослаться в этом случае на красноречивый пример из практики фабричного труда. Здесь мертвой петлей затянут не только мужской труд, но женский и детский, а в общей сумме вся семья зарабатывает едва столько, чтобы не умереть с голоду. Дешевый женский труд является здесь страшным конкурентом и обездоливает как себя, так и мужчину. То же самое будет с эмансипацией поповен и мещанок. Теперь самый крошечный человек из этого круга может, например, жениться, рассчитывая исключительно на свою личную трудоспособность, а когда женский труд подорвет его заработную плату, он может жениться только при том условии, чтобы и жена была работница. В результате такая пара заработает как раз столько, сколько раньше мужчина зарабатывал один, и в выигрыше останутся те же капиталисты.

— Вы забываете, Павел Васильевич, что не все девушки выходят замуж! — азартно спорила Прасковья Львовна, — потом остают-

ся вдовы с семьями на руках... А самое главное: труд даст женщине независимость и нравственную крепость.

— Ваши вдовы и Христовы невесты все равно будут сидеть голодные, а нравственное удовлетворение, конечно, вещь очень почтенная...

— Это возмутительно!.. Он рассуждает, как плантатор!.. как чиновник!.. как старый крепостник!.. — возмущалась генеральша.

— Значит, никакого выхода для привилегированной женщины нет? — спрашивала Анна Ивановна.

— Нет, я этого не говорил... Выход должен быть, но я спорю только против скороспелых построений. Не следует увлекаться, игнорируя всю путаницу общественного строя.

— Это он зубы начинает заговаривать! — объясняла Прасковья Львовна, бросая папиросу на пол: — все мужчины одинаковы... По-моему, Владимир Аркадьевич гораздо вас последовательнее: он прямо проповедует мусульманство. И есть свой резон: у мусульман нет старых дев и нет проституции...

Когда у генеральши бывал Сажин, Ханов редко показывался, а если приходил, то усаживался куда-нибудь подальше в темный угол и здесь хихикал. Теперь он вышел из своей комнаты уже после разговора, и Сажин, чтобы повернуть все в шутку, обратился к нему за разрешением спора.

— Я стою за воинскую повинность для женщин, — ответил Ханов с серьезным видом: — но прежде всего костюм... Это самая великая задача нашего девятнадцатого века:

костюм делает нашу женщину, а не женщина костюм. Чтобы поставить вопрос на рациональную почву, нужно произвести вторую великую революцию.

Часов около восьми пришли Володина и Клейнгауз, а потом Курносов, спорили о фребелевской системе воспитания, которой противопоставляли родную бурсу. Потом заставляли Ханова спеть: «Спится мне, младешеньке, дремлется!..» Сажин долго разговаривал с Анной Ивановной, расспрашивал ее про войну с Марфой Петровной.

— По-моему, нужно прежде всего установить свою домашнюю маленькую правду,— развивала девушка свои мысли,— внешние формы придут сами...

— Маленькую правду? — задумчиво повторял Сажин и смотрел Анне Ивановне в глаза: — это недурно сказано... Да, я согласен с вами... Нам всем именно этой маленькой правды и недостает.

После ужина Прасковья Львовна поехала проводить Анну Ивановну. Она сердилась сегодня весь вечер и жгла одну папиросу за другой.

— Это возмутительно! — ворчала она, усаживаясь в злобинские сани.

— Что возмутительно?..

— Да бабы возмутительны!.. Все раскисли... Вы замечаете, что все они влюблены в этого Павла Васильевича? Уверяю вас... Толстуха Клейнгауз так и покраснеет, как свекла, когда с ней заговорит наш идол... И генеральша тоже... Даже Володина, и та зеленеет еще больше... Ха-ха!

— Я не замечаю, Прасковья Львовна... Вам просто показалось!..

— Мне?.. Нет, голубчик, стара я стала, чтобы блазнило... Кстати, вы не замечаете, голубчик, что этот плутишка-божок немножко ухаживает за вами?.. Есть грех... гм...

— Перестаньте, Прасковья Львовна!.. Мне совестно...

— Э, матушка, дело самое житейское!.. Отчего это Вертепов не был?.. А те прощелыги хороши: школа-паллиатив... Еще и слово какое мудреное придумали... да.

Этот разговор заставил Анну Ивановну покраснеть, и она была рада, что ночью этого не было видно. Холодный ветер жег ей лицо; по сторонам мигали желтыми точками фонари, в одном месте дорогу загородил целый обоз. Анна Ивановна завезла свою спутницу в городскую больницу, где у Глюкозовых была казенная квартира. Выходя из саней, Прасковья Львовна зевнула и лениво проговорила:

— У меня сегодня от этой школы поясницу так и ломит...

Несмотря на свои резкие выходки, докторша Глюкозова была добрейшая и глубоко честная душа, и Анна Ивановна очень ее любила, как и все другие. Чтобы отогнать от себя впечатление последнего разговора с Прасковьей Львовной, Анна Ивановна всю дорогу думала о новой школе и радовалась за Володину, которая с первого раза оказалась такой хорошей учительницей.

XI

В середине Великого поста у Марфы Петровны были всегда большие хлопоты с рыбой: делалась заготовка на целый год. Осетрина, нельмина, муксуны и судаки засаливались впрок, причем «головня», хвосты и «ребровина» шли «людям». Эту операцию старуха всегда производила собственноручно: кучер рубил мерзлую рыбу, кухарка делала засол, Агаша выдирала икру и клей, а сама Марфа Петровна сортировала отдельные куски, бранилась и тыкала мерзлой рыбой кухарку и Агашу прямо в лицо. Сознание, что она делает настоящее хозяйственное дело, придавало старухе необыкновенную энергию.

— Куда это Пружинкин запропастился? — несколько раз вспоминала Марфа Петровна, останавливаясь в кухне перед громадным столом, заваленным всевозможной рыбой: — он хорошо осетровую икру делал, или тоже вот рыбий клей мне всегда сушил.

— Он теперь у генеральши днюет и ночует... — наушничала вкрадчиво Агаша.

— Самая ему канпания!..

Наиболее трогательный момент наступал тогда, когда кадочки с рыбой устанавливали в погреб и сверху накладывали «гнёт» — чуть крышка искривилась или кадушка дала течь, хоть бросай все. Тронутую «душком» рыбу приходилось «травить прислуге». Нынче, как и всегда, Марфа Петровна свирепствовала в погребе собственноручно и успела обругать раз десять кучера, ставившего кадочки. Когда нужно было класть гнёт, прибежала Агаша

и заявила, что пришел Павел Васильевич и спрашивает «самоё».

— В самую пору пришел, именинник... — ворчала Марфа Петровна, отправляясь в горницы: — теперь рыбой от меня воняет на всю улицу. А еще умный человек называется...

Нужно было приодеться, вымыть руки, поправить голову, а кучер там как повернет гнёт на кадушке — вот тебе и соленая рыбка! Гостя приняла Анна Ивановна, а Марфа Петровна велела Агаше подслушивать в дверь, о чем они будут говорить. Этот визит очень польстил старухе, и притом она сейчас же сделала ему соответствующее истолкование: «Ишь, какой любопытный стал до старух, пес... Раньше, небось, лет с восемь и глаз не показывал!» В гостиную она вошла честь честью, с низким поклоном и разными раскольничьими приговорами.

— Давненько тебя не видать что-то, Павел Васильич!.. — говорила Марфа Петровна, неловко усаживаясь в кресло. — С покойничком родителем хлеб-соль важивали, а вот ты как будто даже зазнался... Пожалуй, этак уж совсем и на улице не будешь узнавать.

— Виноват, Марфа Петровна...

— И то виноват, а побранить некому. Наслушил ты, Павел Васильич, всю губернию... Губернатор-то, сказывают, злится на тебя!..

— Нет, губернатор не может очень сердиться... — объяснял Сажин с серьезным лицом. — Помните, у моего отца в огороде на грядке стояло чучело, которое он потряхивал за шнурок? Так и наш губернатор: тряхнут его, он и замашет руками, затрясет головой,

а сам по себе все-таки ничего не может сделать.

— Ишь ты, востер больно!.. Этакого человека да с чучелой сравнял... Ох, не сносить тебе головы, Павел Васильич!

Анна Ивановна, по раскольничьему этикету, посидела немножко и ушла в свою комнату, как это и следует барышне. Марфа Петровна осталась этим очень довольна и разговорилась с Сажиным очень весело, не стесняясь выражениями.

— А я уж хотела совсем рассердиться на тебя, что забыл старуху, да все как-то некогда!.. — язвила Марфа Петровна, — а ты вот и пришел... Знаешь поговорку: честь завсегда лучше бесчестья. Может, еще вам в земство-то и мы, старухи, понадобимся на какую-нибудь причину.

Сажин старался отшучиваться в том же тоне, но под конец спасовал перед ядовитой старухой и неловко замолчал.

— А я тебе вот что скажу, Павел Васильич, — говорила Марфа Петровна на прощанье: — чего твоя-то Василиса Ивановна смотрит? Земство земством, а первым делом тебя женить надо, чтобы телячью-то бодрость оставил. Все вы на словах-то, как гуси на воде, а настоящего чтобы дела — и нету. Поди, вот не знаешь, что добрые люди сейчас рыбу впрок солят?

— Нет, это Василиса Ивановна знает...

— Так, так!.. Деньги только задаром с Василисой-то Ивановной переводите... Да вот еще что я тебе скажу: приезжал как-то с генеральшей этот дохтур, которого ты выписал

в земство. Ну, поглядела я на него: вертоват паренек..

— Нет, он славный, — защищал Сажин товарища, — мы с ним вместе в университете были, хороший и надежный человек вообще...

— Так... Это хорошо, когда надежные люди все у тебя кружатся. А ты бы все-таки сам рыбки-то присолил, оно надежнее: лето придет, сейчас ботвиньица с соленой рыбкой и на столе. Вот Софья Сергеевна любит ее; бывает по времю и у меня, такая ласковая бабочка, — как приедет, так и обойдет старуху. Надо бы в другой раз словечко покруче выговорить ей, а у меня сердце не поднимается на нее. Теперь разобрать, какую она себе компанию подобрала?.. Ровно в городе и людей не стало... От ее-то ума и мне немало горя.

Простилась с гостем Марфа Петровна очень дружелюбно и даже пригласила как-нибудь завернуть летом, когда в Петровки добрые люди ботвинью будут есть. Анна Ивановна так и не показалась, а Сажин уехал недовольный, что Марфа Петровна позволяет себе уж слишком много. Ему не следовало делать этого визита, который старуха, наверно, перетолкует по-своему. Эти «ветхие люди» не понимают самых обыкновенных человеческих отношений... Сажин приезжал собственно только затем, чтобы подарить Анне Ивановне первый номер своей газеты «Моховский Листок». Первое место в газете было отведено, конечно, земству, причем Щипцов постарался и разгромил все партии. Сажину в номере принадлежала только одна

заметка об открытии первой начальной школы в Теребиловке. Он теперь припоминал счастливое выражение лица девушки, когда она просматривала номер, и как она улыбнулась, пробегая заметку о школе.

— Это вы писали о школе? — спросила она, свертывая номер трубочкой.

— Почему это вы думаете?

— Да так... заметно по языку, и есть несколько ваших любимых выражений...

Это подстрекнуло самолюбие Сажина, и он был совсем счастлив, что у него есть наконец своя газета, в которой можно сказать свое слово. Куткевич готовил ряд передовых статей о профессиональном образовании. Белошеев обещал какой-то трактат по «философии неравенства»; затем в редакцию явились новые люди, существование которых в глухом провинциальном городе трудно было бы даже предполагать: какой-то отставной подпоручик корпуса флотских штурманов Окунев; потом отставной архивариус какого-то «сосредоточенного архива» Корольков и т. д. Даже о. Евграф и тот обещал статейку: «Черты неумытного споспешествования благому начинанию». Одним словом, газета с первых же шагов явилась связующим началом, организовавшим общественное мнение.

«Почему это старуха так нападает на Вертепова? — раздумывал Сажин, возвращаясь домой пешком и припоминая фельетон доктора в «Листке»: — у этих непосредственных натур есть свое чутье...»

По странной ассоциации идей он припомнил, что грёзовская генеральша называет Ан-

ну Ивановну «недотрогой», — действительно, недотрога. Зачем она вышла и скрылась?.. Сажин опять припомнил выражение лица девушки, когда она просматривала газету, и улыбнулся. Какое у нее милое лицо, когда она задумывается. Недели через две Сажин опять явился в злобинский дом. Это вышло как-то совсем случайно: он чувствовал себя не совсем здоровым, вышел на улицу подышать свежим воздухом и опомнился только тогда, когда взялся за ручку звонка. Ему припомнился последний неприятный разговор со старухой, но возвращаться было уже поздно. На его счастье, Марфы Петровны дома не оказалось: она уехала в свою молельню.

— Барышня дома... — лукаво говорила Агаша, стаскивая шубу с гостя.

— Ага... — ответил Сажин и сунул бойкой девушке кредитку.

Анна Ивановна сильно смутилась и вышла к гостю с серьезным лицом, но он, кажется, не хотел замечать настроения молодой хозяйки и прошел из залы без приглашения прямо в гостиную, как свой человек в доме.

— А я, знаете, зашел отдохнуть к вам, Анна Ивановна, — рассеянно объяснял Сажин, перекладывая свою шапку на третье место, — устал... одним словом, я начинаю стариться и хандрю, как все старики.

— Может быть, случилось что-нибудь?

— Нет, ничего особенного... Просто устал! Знаете, на всякого нападают такие моменты бессилия, а тут еще эта война мышей и лягушек... В самом деле, что за удовольствие вести препирательства и сражаться с какими-то

волостными писарями, кабатчиками и вообще головоногими!..

— Да, но ведь вы работаете не для этих людей, а для известного дела... — нерешительно заметила Анна Ивановна, чтобы сказать что-нибудь.

Этот неожиданный визит поставил девушку в самое неловкое положение, и она начинала сердиться, что Сажин не хочет это понять. Что подумает Марфа Петровна, когда вернется из молельни?.. Анна Ивановна чутко прислушивалась к каждому шороху и вперед переживала неприятное объяснение с матерью. В окна смотрело уже апрельское солнце, где-то трещали неугомонные канарейки; в отворенной двери показалась пестрая кошка, посмотрела большими зелеными глазами на гостя и на хозяйку, облизала рот и ушла назад.

— Как у вас славно в этих комнатах, — говорил Сажин, оглядывая обстановку, точно был здесь в первый раз: — мне они напоминают детство, когда отец таскал меня по молельням... У вас и воздух какой-то церковный... Виноват, я не ответил на ваш вопрос. Дело — хорошая вещь в принципе, только на практике оно распадается на разных Петров Ивановичей и Иванов Петровичей, сильных уже простой численностью. Извольте карабкаться и перелезать через этот тын!.. А тут еще приходится считаться с микроскопическими самолюбиями, желанием непременно отстоять свое мнение и разными другими каверзами. Помните, Гейне сказал, что самая ужасная из всех войн — это война с клопом?..

Лично я меньше всего желаю разыгрывать роль какого-то героя, но согласитесь, что эта мелюзга отравит жизнь кому угодно... Вы мне позволите закурить сигару?..

— Пожалуйста...

— А что ваша маленькая правда? — уже с улыбкой спрашивал Сажин, пуская струйку синего дыма.

В своих разговорах с Анной Ивановной он часто возвращался к этой теме и незаметно входил в подробности ее жизни. Его все интересовало, но, вместе с тем, это любопытство было проникнуто такой задушевностью и простотой, точно он говорил с сестрой, встретившись после долгой разлуки. Иногда он давал советы, иногда возмущался домашней политикой Марфы Петровны и даже предлагал переговорить с ней, что так жить нельзя и что теперь совсем другие условия. Сейчас, по выражению лица Сажина, Анна Ивановна видела, что ему хочется заговорить именно на эту тему и что он не решается. Между ними уже установилась известная тонкость понимания, которая не требовала слов.

Когда Сажин ушел, Анна Ивановна пошла в свою комнату и, отворяя дверь гостиной, кого-то больно ударила половинкой по голове: это была Марфа Петровна, в одних чулках подслушивавшая у двери.

— Мама, разве вы были дома? — удивилась Анна Ивановна: — отчего вы не вышли к Павлу Васильевичу?

— Ладно, ладно... Не твое дело мать учить. Чуть было глаз не вышибла.

— Я просто не могу понять, мама, как ваша голова очутилась у самой ручки?

— Убирайся!..

Марфа Петровна, охая, побрела в свою каморку и по дороге бормотала:

— Ишь, краснобай... небось даже не спросил, как, мол, Марфа Петровна поживает, точно я им кошка какая в дому. Надо ужо крестом потереть лоб-то, а то как раз шишка вскочит... тьфу!.. И примета нехорошая...

В сущности, Марфа Петровна была очень довольна и по-своему перетолковывала сажинские визиты.

«Что же, от своей судьбы не уйдешь,— размышляла она, перебирая свои узлы в каморке:—только вот что Софья Сергеевна скажет?.. Ох-хо-хо!.. Согрешили мы, грешные...»

Анна Ивановна была удивлена, что обыкновенных неприятных объяснений с матерью не последовало и она могла оставаться в своей комнате совершенно одна, охваченная нахлынувшей волной того счастья, которое даже пугает.

XII

— Ты, Пружинкин, дурак...—с особенным чувством говорил Ханов, наслаждаясь послеобеденным кейфом.

— Позвольте-с, в каком это смысле дурак?—спросил Пружинкин, уже успевший привыкнуть к резким выходкам повихнувшегося старика.

— Во всяком... начиная с того, что ты меня считаешь сумасшедшим.

— Действительно, Владимир Аркадьич, у вас есть свой стих: все говорите как следует, а потом и накатит отсутствие ума... Так полагаю, что это от вашей прежней развратности происходит. Силы-то прежней уж не стало в вас, а свинство остается...

Ханов любил, когда его бранили, и хохотал настоящим сумасшедшим хохотом, как и сейчас. Слова Пружинкина приятно щекотали его притупившиеся нервы, вызывая воспоминания о прошлом, когда он мог кутить и развратничать напропалую.

— И все-таки дурак... — продолжал Ханов, повертываясь на спину, — он лежал на кушетке в гостиной Софьи Сергеевны. — Знаешь ли ты, что такое женщины?.. Нет, тебе твоим мужицким умом этого не понять, а у меня настоящая дворянская плоть. Что сие значит? А значит сие то, что в течение трехсот лет род Хановых пользовался особыми преимуществами по части безобразия и к женскому полу имел большое прилежание... Да! Это нужно чувствовать, а ум, как холоп, идет туда, куда его посылают. Так что́ же такое женщина?.. До двенадцати лет она нахально любопытна, в шестнадцать недотрога — это лучшая пора, когда ею нужно пользоваться... Потом она ловит женихов и любовников. Впрочем, ты меня не поймешь своим мочальным умом, а я скажу тебе загадку: кого считают простой и глупенькой, та всех перехитрила, умная остается в дурах; мужчина сначала с глупенькой цветочки рвет, потому что очень уж это просто и безопасно, а потом доберется и до умной... ха-ха!..

Такие разговоры с притчами, загадками и дикими выходками происходили в квартире Мешковой довольно часто, когда Пружинкин дежурил здесь в ожидании Софьи Сергеевны. Генеральша окончательно завладела стариком и сумела настолько его обезвредить, что ему дохнуть было некогда: и то нужно, и это нужно, и пятое-десятое. Пружинкин в пылу усердия не замечал, что, исполняя поручения генеральши, он без отдыха вертится, как белка в колесе.

— Раб ваш, Софья Сергеевна... совершенный раб-с! — восторженно признавался он, когда генеральша протягивала ему свою беленькую ручку.

Эта последняя церемония, конечно, проделывалась с глазу на глаз. Ни Петров, ни Ефимов, ни Курносов даже не подозревали о существовании такой формы рабства. Они третировали Пружинкина свысока, хотя, в свою очередь, не брезгали пользоваться его мещанскими услугами.

— Старику движение необходимо, — объясняли нигилисты, — это полирует кровь и придает живость воображению.

Пружинкин не замечал ничего, счастливый своим рабством. Чтó он такое, в самом деле? Червь, козявка, пыль, — а с какими людьми сообщение имеет!.. Генеральшу даже провожал два раза в театр и в санях с ней рядком ехал. И красивая эта Софья Сергеевна, не в пример другим барыням, особенно когда приоденется: все на ней точно приклеено, и каждая штучка на своем месте, — оборочки, рюшечки, бантики, ленточки, как цве-

тики на кусте. Весьма хорошо-с... И сама генеральша всегда такая веселая да свежая, как птица. Конечно, к умным людям она большое пристрастие имеет и даже позволяет им дерзкие слова говорить... Но здесь мысли Пружинкина совпадали с генеральской философией Марфы Петровны: охотку тешить, не беда платить.

В течение зимы Пружинкин вошел окончательно во все распорядки генеральской жизни. Софья Сергеевна отказалась от большого света и его соблазнов, погрузившись с головой в мирок умных людей. Про нее ходили по городу слухи и очень некрасивые рассказы, но она не обращала внимания на это неизбежное дополнение всякого провинциального существования. Ей нравилось жить так, как она жила. Кроме уже известных нам умных моховских людей, Софья Сергеевна открыла существование новых: гимназисты Коврижко и Оконцев, семинаристы — четыре брата Поповых и т. д. Попадались и среди гимназисток «очень развитые экземпляры», но про себя Софья Сергеевна все-таки отдавала преимущество мужчинам. Да, она часто бывала несправедлива и добродушно каялась в своих недостатках: была пристрастна к людям, любила плотно покушать, немножко кокетничала, носила слишком тонкое белье, а на шее какую-то ладонку, держала двух горничных, плакала от любимых шопеновских вальсов, была не прочь смастерить брак по любви и т. д. За глаза ее бранили ее же знакомые и рассказывали пикантные анекдоты, но вслед за тем шли к ней же, потому что

Софья Сергеевна самой природой была создана с нарочитой целью угощать других, поить, кормить и вообще устраивать разные маленькие одолжения. В уплату, как это водится на белом свете, она получала самую черную неблагодарность и горькие истины.

— Вы нас извините: мы люди прямые,— говорили Петров и Ефимов после эпизода со школой: — в вас одно прекраснодушие и пустота... Вы держите двух горничных, у вас гнусные привычки к роскоши, вы вообще живете паразитом на здоровом народном теле.

— Неправда: у меня сейчас одна горничная, Дарьица, а Пашице я отказала!.. — отчаянно защищалась генеральша.

— Это все равно... А этого дармоеда, Ханова, для чего вы кормите?..

Побежденная грёзовская генеральша — ее всегда побеждали — грустно умолкала, потому что в этом единственном случае считала себя совершенно правой. Ее защищала одна Прасковья Львовна, чувствовавшая к ее беззащитной красоте самую непростительную слабость, и Софья Сергеевна платила докторше самой восторженной нежностью, почему Прасковья Львовна даже часто оставалась ночевать у генеральши. С глазу на глаз они говорили на ты: «Ты, Сонька, в сущности, самая пустая бабенка...» В минуты душевного расслабления Прасковья Львовна с большим пафосом говорила о несправедливости к женщине самой природы. Да, природа несправедлива, отпуская мимолетную красоту за такую длинную лестницу испытаний, житейской горечи и разочарований. Как хотите, а женщи-

на связана по рукам и ногам уже своими физическими особенностями и сравнительной слабостью. Возьмите весь тот ужас положения женщины у дикарей и наших инородцев, где она является нечистым скотом, одно прикосновение которого оскверняет. Полуцивилизованные расы сделали из женщины вьючное животное и самку-производительницу. Древние европейские цивилизации создали культ только красивой женщины. Прогресс, конечно, сделал большой шаг вперед, но женщина все-таки остается женщиной, и самые лучшие, святые чувства идут к ней в душу на собственную погибель. Подлец-мужчина делает уступки только из вежливости, а ум и образование раскрывают пред ней страницу за страницей неисчислимых страданий и вечно неудовлетворенной жажды жизни. Выхода нет, и Прасковья Львовна со слезами на глазах говорила:

— Если бы у меня родилась дочь, я ее задушила бы, как это делают дикари. Природа нахально несправедлива, и, действительно, бог в минуту гнева сотворил первую женщину... Птицы и низшие животные, к своему счастью, не знают наших преимуществ. Каждая хорошенькая женщина делает своей красивой рожицей несчастными сотни других женщин, родившихся в обыкновенном человеческом виде, как имеют право родиться одни мужчины.

После таких разговоров Софья Сергеевна вставала на другой день с опухшими красными глазами и грустила до обеда. Пружинкин обвинял Прасковью Львовну в дурном влия-

нии на генеральшу и старался придумать какое-нибудь развлечение. Софья Сергеевна утешалась скоро и входила в свою обычную колею.

Чему удивлялся Пружинкин, так это недостатку времени — некогда, и конец делу! Проекты лежали в забросе, а Мохов со всех сторон обкладывался навозом все плотнее и плотнее. Старику некогда было даже завернуть к Марфе Петровне, чтобы принять на свою повинную голову необходимую грозу. Раз только встретил он старуху на Черном рынке, и она его остановила:

— Послушай, Егор Андреич, да ты, кажется, рехнулся?

— Приду, Марфа Петровна, непременно приду... Вот только чуточку опростаюсь!..

— Ты посмотри на себя-то: какой у тебя вид!..

— Какой-с, Марфа Петровна?..

— А такой... Точно с печи упал.

Марфа Петровна даже погрозила ему пальцем, а Пружинкин обманул ее и на этот раз не пришел. Тут школа, там генеральша — хоть не дыши. Надо бы к Павлу Васильевичу завернуть и поговорить насчет навоза, но и подумать некогда. Свободного времени едва удалось урвать на собственные именины, которые Пружинкин справлял 23 апреля на Егора-запрягальника. Из гостей в избушке Пружинкина налицо был один неизменный Чалко, усиленно плевавший на пол. На письменном столе красовался именинный пирог с соленой осетриной, графинчик с водкой, бутылка рябиновки, мадера и несколько тарелок

с разными закусками — рыжики в уксусе, копчушка, огурцы. Сам Пружинкин никакого вина не пил, и, ввиду этого печального обстоятельства, Чалко выпивал по две рюмки за раз.

— У меня натура особенная... — объяснял он, набивая рот закуской: — теперь одному человеку одно, другому — другое, а третьему...

Оглушительный лай Орлика на дворе заставил Пружинкина подскочить к окну. У его ворот остановилась щегольская пролетка Софьи Сергеевны, и сама она, Софья Сергеевна, своей собственной персоной шла по двору, прямо в избушку, а за ней — Анна Ивановна. Чалко подавился остановившимся в горле рыжиком и хотел спрятать свою «особенную» фигуру за печкой, но Пружинкин его удержал:

— Перестань дичиться! Ты такой же гость. Это генеральша с злобинской барышней.

Старик выскочил встречать нежданных гостей в сени, застегивая по дороге свой сюртук и жилет.

— Ваше превосходительство, вот, можно сказать, осчастливили... — бормотал он, распахивая двери.

Чалко, со слезами на глазах от душившей его перхоты, униженно раскланялся с дамами и по необъяснимой причине спрятал свою шапку под печку, как предмет весьма недостойный, компрометирующий высоких посетительниц одним своим видом.

— Мы приехали вас поздравить, Егор Андреич, — говорила Софья Сергеевна, снимая пальто.

— Ваше превосходительство... да я... ах, боже мой... Анна Ивановна, позвольте пальтецо принять.

Когда дамы взглядывали в сторону Чалки, он судорожно закрывал рот и начинал пятиться к дверям.

— Позвольте представить вам моего приятеля: фельдшер Сушков, — отрекомендовал Пружинкин своего гостя. — Он у нас в Теребиловке за всю медико-хирургическую академию отвечает...

— Очень приятно... — протянула генеральша, подавая Чалке свою ручку, и милостиво улыбнулась: — очень приятно!..

Анна Ивановна в это время успела положить на окно два таинственных свертка и потом занялась разговором с Чалкой: давно ли он лечит в Теребиловке, сколько у него больных, какие болезни преобладают в школьном возрасте и т. д. Чалко сначала говорил только «да-с» и «нет-с», но потом оправился и начал говорить почти толково. Генеральша в это время успела осмотреть избушку, приласкать Орлика и объяснила мимоходом, что не прочь закусить.

— Что же это я дураком стою перед вашим превосходительством? — возмущался Пружинкин, кидаясь за занавеску, чтобы подать тарелки и ножи с вилками.

Вернувшись с необходимыми снарядами, он проговорил:

— Уж если на то пошло, ваше превосходительство, так не откажите чести имениннику... настоящим образом поздравить...

Расхрабрившийся старик налил две рюм-

ки мадеры. Анна Ивановна отказалась, но генеральша, счастливая своим милостивым присутствием в избенке, пригубила рюмку и, сделавши маленький глоток, закашлялась.

— Осчастливили на век жизни... — бормотал Пружинкин, пока дамы ели по куску именинного пирога.

Гостьи посидели с полчаса, поболтали о разных разностях и уехали. Пружинкин проводил их до ворот и вернулся в избушку с восторженным лицом.

— Из которой рюмки генеральша пила?.. — спрашивал он, недоверчиво рассматривая две полных рюмки.

— Вот из этой... — пояснил Чалко, указывая на рюмку с золотыми разводами: — еще поперхнулась...

— Да, брат... это называются: люди! Не погнушались стариком...

— Надо развернуть гостинцы-то... — посоветовал Чалко, мучимый любопытством.

— Какие гостинцы?..

— А на окно барышня положила...

Гостинцы были развернуты дрожавшими руками; в одном свертке были две книжки с надписью: «от Анны Злобиной»; в другом — вышитые шерстями и шелком туфли со вложенною в них записочкой: «От генеральши. Собственная работа». Пружинкин поцеловал и книги и туфли и положил их на письменный стол, рядом с пирогом.

— Удостоился... — шептал он: — собственными ручками генеральша вышивала... Нет, Чалко, позволь: что́ же это такое, в самом деле?..

«Особенная натура» безмолвствовала, потому что требовался новый заряд из двух рюмок. Пружинкин несколько раз принимался рассматривать подарки, перекладывая их с места на место, и наконец в каком-то отчаянии проговорил:

— Чалко, которая по-твоему лучше: генеральша или Анна Ивановна?

Чалко вытаращил глаза и только развел руками: обе хороши... Но Пружинкина это не удовлетворило. По его мнению, которая-нибудь из двух должна же быть лучше, а сделать выбор самому было выше его сил. В подтверждение своей мысли, что обе хороши, Чалко еще раз выпил две рюмки.

Туфли генеральши с этих пор красовались постоянно на письменном столе Пружинкина, а недопитая рюмка хранилась в особой коробочке из-под сигар, прибитой к стене. Книжки Анны Ивановны были поставлены в числе других редкостей на полочке, оклеенной по этому случаю золотой бумагой.

XIII

Теребиловская школа для Анны Ивановны являлась своего рода Америкой, где она делала постоянные открытия, хотя могла заниматься в ней только урывками, когда позволяли время и обстоятельства. Первый пыл увлечения школьным делом в течение первого же полугода заметно поутих. Первой отстала от школы генеральша, за ней Прасковья Львовна. Последняя объяснила свое отступление недостатком педагогической подготовки

и вообще педагогических способностей, а первая не пыталась даже оправдывать себя. Таким образом, в школе занимались только Клейнгауз и Володина: первая в женском отделении, вторая — в мужском. Школа шла понемногу вперед, причем основной силой являлась Володина. Эта серая, невидная девушка с чахоточной грудью обнаружила большую настойчивость, уменье вести дело, а главное — тот особенный педагогический такт, которому нельзя выучиться.

— Это святая девушка! — восторженно отзывалась о ней генеральша: — ей цены нет... Вот каких женщин нам нужно.

На некоторое время Володина сделалась даже героиней дня, что ее сильно конфузило, как невольную конкурентку Клейнгауз. Неумеренные восторги и похвалы вслух сделали наконец то, что обе девушки заметно охладели друг к другу: Клейнгауз была обижена, Володина чувствовала себя в фальшивом положении.

Анна Ивановна особенно внимательно присматривалась к этой школьной знаменитости и чувствовала лично, по отношению к себе, тоже какой-то скрытый антагонизм со стороны Володиной, что ее очень огорчало. Они вместе занимались, встречались в салоне генеральши и все-таки мало знали друг друга.

— Что́ это, Володина как будто дуется на меня? — спрашивала Анна Ивановна Прасковью Львовну.

— Володина?

— Да... Может быть, мне это так кажется, или я просто не понимаю людей.

— Ах, голубчик, как вы просты! — удивлялась Прасковья Львовна, покачивая своей стриженой головою. — Что́ вы такое, если разобрать серьезно: богатая и красивая девушка, которой пришла блажь заниматься в народной школе и которая не сегодня-завтра выберет себе любого жениха. Извините, я выражаюсь откровенно... да. А Володина бедная, некрасивая девушка, у которой эта школа, может быть, единственный ресурс в жизни, и больше ничего. Понимаете вы? — ровно ничего! Ведь это страшно, когда вам двадцать лет и когда вам мозолит глаза какая-то богатая раскольница... Люди, очень хорошие сами по себе, часто могут быть несправедливы к другим, как и в данном случае.

Это откровенное объяснение обидело Анну Ивановну, тем более, что от своего богатства она, кроме зла, пока еще ничего не видела. Если она не занималась в школе наряду с Володиной, то опять этому мешали разные семейные обстоятельства и просто дрязги, о каких не говорят. Достаточно сказать одно то, что каждый урок в школе стоил Анне Ивановне больших неприятностей. Марфа Петровна придиралась к ней, пилила походя и делала те мелочные, жалкие сцены, о которых даже говорить не хочется. Волей обстоятельств девушка сделалась тоже отступницей от школы, и это постоянно ее угнетало, а тут еще — стоявшая немым упреком Володина. Иногда Анне Ивановне хотелось открыть душу этой серой девушке, но ее удерживал ложный стыд: как она отнесется к этой исповеди и не оттолкнет ли ее с ее избалованной бла-

жью? Может быть, Володина совсем не желает с ней сходиться из законного самолюбия всех бедных людей, зарабатывающих свой кусок хлеба тяжелым и неблагодарным трудом?

Благодаря этим обстоятельствам Анна Ивановна каждый раз ехала в школу с тяжелым сердцем и забывала свои личные невзгоды только тогда, когда начинали заниматься. Она помогала Клейнгауз в женском отделении, и это опять имело свои неудобства. Клейнгауз могла подумать: «Разве я занимаюсь хуже Володиной, если ко мне является помощница?..» Но Клейнгауз была слишком толста, чтобы беспокоиться такими соображениями, и относилась к Анне Ивановне как-то равнодушно. Женское отделение нравилось Анне Ивановне больше, а бойких теребиловских мальчишек она просто боялась: как это Володина умеет справляться с такими сорванцами? Среди учениц Анна Ивановна чувствовала себя совершенно свободно и входила душой в тот теребиловский мир, который стоял за этими босоножками. Через них она училась понимать неведомую для нее жизнь окраины и приходила в ужас от одной мысли, что вот из этих детских лиц, еще полных утренней свежести, выйдут впоследствии отчаянные теребиловские бабы и еще более отчаянные девицы, пользовавшиеся в Мохове настолько плохой репутацией, что из Теребиловки совсем даже не брали женской прислуги. Раскрывалась какая-то ужасная жизнь, причем люди служили только мертвым выражением для известных «железных законов» всего уклада общественной жизни.

На этой почве Анна Ивановна особенно хорошо поняла Пружинкина и его «темноту». Она его полюбила, как и несбыточность пружинкинских мечтаний. Зло слишком было велико, чтобы могла быть организована настоящая реальная помощь. Даже безответный Чалко и тот начинал казаться Анне Ивановне совсем в ином свете, чем в первый раз, когда она познакомилась с ним на именинах Пружинкина. Мысленно она рисовала себе всех этих больных, лежавших по теребиловским избушкам и в лице Чалки имевших единственную помощь. Он, этот простой фельдшер, являлся пред ней великим человеком. Когда встречался на дороге экипаж Чалки, Анна Ивановна очень вежливо раскланивалась с его хозяином и несколько раз пыталась вступить в разговор, хотя не особенно успешно.

— Напрасно вы беспокоитесь, Анна Ивановна, — объяснил Пружинкин по этому поводу. — Такой он человек... то есть Чалко... лишен всякой словесности, а только он добрый и не фыркает на больных.

Ученицы тоже называли фельдшера Чалкой, и в этой кличке чувствовалась их органическая связь со своим фельдшером.

Да, Теребиловка являлась для Мохова чем-то вроде помойной ямы, а там, в больших каменных домах, шла своя привилегированная жизнь, свои интересы и свои мысли. При одном имени Теребиловки мужчины иронически улыбались и пожимали плечами, а дамы приходили в ужас и отмахивались руками.

Возвращаясь домой, девушка думала о Теребиловке, которая своим грешным сущест-

ванием начинала отравлять ей даже тот покой и удобства, какими она пользовалась. Каждый день садиться за стол и есть свои разносолы, когда там нет хлеба у детей, нет лекарства больным... И помочь теребиловцам нельзя: нужно было воспитать совсем других людей, то есть изменить в основании весь строй городской жизни, создавший, как свое неизбежное следствие, Теребиловку. Прежде люди успокаивались благотворительностью и нищенскими подачками, но эту систему поправления теребиловского зла даже Пружинкин называл паллиативной мерой. Скажем в скобках, что старик, как все самоучки, питал большое пристрастие к ученым иностранным словечкам и частенько употреблял их не совсем кстати. В данный момент всякая благотворительность была особенно в загоне, и все говорили, что зло устранимо только с устранением причин — все остальное составляет бирюльки и дамскую блажь.

В этом упорстве мысли богатой невесты сказывались неудовлетворенные позывы к другой жизни и широкой деятельности. Девушка вносила сюда всю страстность пробудившегося сознания и с мучительной болью наталкивалась на разраставшиеся препятствия. Минуты просветления и веры в себя сменялись полной безнадежностью и апатией человека, заживо похороненного в четырех стенах. В Анне Ивановне сказывалась чисто раскольничья энергия, выработанная рядом поколений.

В одну из таких скверных минут Анна Ивановна однажды сидела в учительской ка-

морке теребиловской школы и перебирала ученические тетради. Осторожные шаги вошедшего о. Евграфа заставили ее оторваться от работы. Она по особенной антипатии, воспитанной с детства к православному духовенству, относилась к о. Евграфу с полным пренебрежением: все попы, мол, взяточники и попрошайки, которые дерут с живого и с мертвого. Если о. Евграфа терпели в школе, то только потому, что нельзя же было обойтись без законоучителя. Даже отношения Пружинкина к этому попу возмущали Анну Ивановну: старик делал глупое лицо, подходил под благословение и бежал отворять двери. Что-то такое нехорошее было в этих отношениях — подобострастное и унижающее, хотя Пружинкин несколько раз говорил Анне Ивановне:

— Я и попа особенного приспособил для школы-с...

В чем состояла эта особенность о. Евграфа, Анна Ивановна совсем не желала разузнавать. Она кланялась ему издали и старалась по возможности избегать, как хотела сделать и теперь.

— Вы это куда же так заторопились, Анна Ивановна? — заговорил о. Евграф. — Можно предположить, что этому невольной виной послужил я...

— Нет, я кончила... — твердо отвечала девушка и, только солгав, поняла, что поступила нехорошо.

Отец Евграф неловко замолчал, крякнул и как-то смущенно потупил глаза. Он был в своей будничной, выцветшей люстриновой

ряске, которая у ворота совсем засалилась от падавших на плечи волос.

— У вас, батюшка, сегодня в котором отделении урок? — спросила Анна Ивановна, чтобы загладить свою необдуманную ложь.

— В мужском... Сейчас напутствовал умирающего, — совершенно просто проговорил он, усаживаясь на стул. — Бедность и нищета... И что же: так спокойно умирает. Простилась со всеми, благословила ребятишек... Даже, знаете, со стороны неловко смотреть: и живой человек и как будто не живой.

— Не о чем жалеть, вот и умирает спокойно.

— Вы думаете?

— Кажется, ясно...

О. Евграф немного поморщился, пожевал губами и в другом тоне заговорил:

— Нет, тут другое, сударыня. Конечно, есть умные и очень богатые люди, одним словом, князи мира сего, но есть и совесть... Теперь вот вы, например, так полагаете: будет у вас хлеб, будет кров, будет необходимое одеяние, одним словом, насущные земные блага, и сейчас будут все счастливы?.. Не так ли, сударыня?

— Положим, что так...

— И в этом вы видите цель своей деятельности, а просвещение косвенно или прямо ведет к тому же. Если человек сыт, он не пойдет воровать; если у человека тепло и уютно, он не пойдет в праздничное время по кабакам — другими словами, сытая и довольная жизнь сама устранит всякие преступления... Так гласит наука о цивилизации и так

говорит господин Бокль. Прогрессируют научные истины, а нравственность одна и та же от самых глубоких времен, и ни одной ноты никто еще не прибавил в ее кодекс. Не правда ли?..

— Не совсем так, но я не спорю.

— Хорошо-с... Отчего же теперь в хороших домах, где и сыто и одето — отчего туда вкрадывается скорбь и льются напрасные слезы? Человек нажил рубль — ему уж нужно нажить два; он, этот человек, наживший два рубля, для наживы третьего давит своего соседа, и если поучился грамоте, то называет свой поступок «борьбой за существование». Слабый гибнет, а сильный торжествует... Ни правды, ни неправды нет, а есть борьба за существование, половой подбор и полная невменяемость, ибо каждый, при данных обстоятельствах, обстановке, воспитании, темпераменте и расположении духа, и поступить иначе не мог. Доктор Крупов называет всех людей сумасшедшими... Да?

— Что же из этого всего следует?.. — спрашивала Анна Ивановна, удивленная начитанностью батюшки, который знал даже г. Бокля и доктора Крупова.

— А следует то, с чего мы начали: бедная и простая женщина умирает со спокойной совестью, а мы будем думать, что если у всех будет тепло, то и хорошо. Внешнее еще не дает внутреннего, и, может быть, мы идем помогать людям, у которых нам самим следовало бы просить помощи... Есть своя философия нищеты и злоключений.

— Следовательно, по-вашему, бедные

счастливее нас, богатых, и мы не должны выводить их из этого блаженного состояния?..

— Нет, я этого еще не сказал... Полагаю только, что одно развитие умственное, как утверждает господин Бокль, еще не делает *всего* человека. Вы, например, образованная и воспитанная девушка, больше всего смущены тем, что настоящие слова говорит человек, одетый в рясу. Вас уже отталкивает одна внешность, с которой в своем уме вы соединили известные мысли. Точно так и в других случаях жизни вы будете руководствоваться указанием этой мысли, которая, как обоюдоострый нож, может служить и на великую пользу и на великий вред.

Этот разговор был прерван кончившимся уроком, и Анна Ивановна была рада случаю отвязаться от попа-иезуита, как она называла его про себя. Зачем он пристал к ней? По его словам, не нужно даже учить детей... Теперь в школе одной неприятностью больше. За разрешением своих недоразумений Анна Ивановна иногда обращалась к Прасковье Львовне, как сделала и теперь. Та даже расхохоталась.

— Это отец-то Евграф иезуит? — повторяла она, хлопая себя по бедрам, как торговка. — Ну, матушка, попала пальцем в небо... Я не особенно попов жалую, а этот — исключение: философ какой-то и чудак. Он часто у моего супруга бывает, потому что они вместе учились в бурсе. Однако, черт возьми, дорого бы я дала, чтобы посмотреть, как это вы объяснялись в учительской... и поняли один другого.

XIV

Лето прошло очень весело. Салон грёзовской генеральши и «молодой Мохов» соединились на время для общих развлечений. Устраивались пикники, поездки в лес и другие parties de plaisir. Было несколько спектаклей с благотворительной целью, гулянья в городском саду с неизбежными аллегри, дававшими моховским красавицам случай показать себя. Софья Сергеевна тоже не отказывалась с благотворительной целью повертеться на открытой эстраде, где моховская публика осаждала ее. Она являлась как бы примиряющим элементом, и все партии на время смешивались в одну безразличную кучку. Моховский губернатор, прихрамывающий на левую ногу, особенно ухаживал за хорошенькой вдовушкой и говорил ей те любезности и комплименты, какие были в ходу полвека назад. По своей наружности он ничем не отличался, особенно когда надевал партикулярный костюм: высокий, плотный старик с свежим лицом и большим носом, — вот и все. Летом губернатор любил ходить попросту, в паре из китайского шелка и немного фантастической «крылатке».

— Мы вас подозреваем, наша дорогая Софья Сергеевна, — говорил обыкновенно губернатор и сладко прищуривал один глаз, как пообедавший старый кот. — Да... Вы устраиваете у себя очаг революции.

— Представьте, а я и не подозревала, что это так опасно!.. — кокетничала генеральша.

— Но вы сами по себе опаснее всякой революции...

Губернаторская свита, состоявшая из разных советников и чиновников особых поручений, расцветала одной улыбкой: начальство изволит шутить... Прибавим от себя, что это очень льстило суетным чувствам Софьи Сергеевны, и она принимала самые обворожительные позы, по-институтски прижимая локотки к талии. Старик губернатор пользовался репутацией большого ловеласа, и поэтому все чиновники старались изо всех сил ухаживать за дамами, что́ зачислялось им в исполнение их прямых обязанностей. Сажин обыкновенно появлялся тоже на эстраде, где царила Софья Сергеевна, и это служило поводом к очень пикантным сценам.

— Мы все вращаемся около вас, Софья Сергеевна, как отдельные созвездия около центрального светила, — сказал однажды губернатор в присутствии Сажина, который сидел у рулетки молча. — Есть в вашей орбите даже кометы...

— Ваше превосходительство, по-моему, самая маленькая комета лучше тех подозрительных планет, которые светят чужим светом, — ответил Сажин, парируя удар.

— Но солнце все-таки остается солнцем, не правда ли? А самая темная планета может гордиться, что и на нее упал золотой солнечный луч...

Собственно говоря, времена были самые либеральные, и предержащая власть даже снисходительно заигрывала с протестовавшими элементами. Притом губернатор от приро-

ды был добродушный малый и больше всего на свете интересовался театральными делами, где у него велись легкие интрижки. Это было в порядке вещей, когда вылетевшая на сцену оперетка увлекла и сановные головы. За моховским губернатором даже установилась специальная кличка опереточного губернатора, и он первый аплодировал из своей ложи, когда в «Певчих птичках» губернаторский кучер кричал из-за газеты: «Vive le gouverneur!» Либерализм этого моховского губернатора простирался до того, что он подавал руку даже Щипцову, когда тот сделался редактором «Моховского Листка», и милостиво выслушивал скабрезные анекдоты Ханова, когда тот являлся на гулянье в своем официальном звании «дяди».

— Как гнусно коверкается наша генеральша! — возмущались нигилисты, попивая пиво где-нибудь за отдельным столиком. — Пропащая бабенка.

С нигилистами сидел обыкновенно Курносов и мрачно наблюдал публику своими белыми глазами. Доктор Вертепов, по свойственному фельетонистам легкомыслию, перебегал от одной партии к другой и разносил городские вести. «Милый доктор» пользовался особенной популярностью в дамском обществе.

В качестве излюбленного земского человека Сажин пользовался особенным вниманием публики, и это последнее неприятно его стесняло. Сидя на эстраде, он долго выжидал удобного момента, чтобы скрыться в публику незаметно и, не встречаясь со знакомыми, до-

браться до того места, где гуляла Анна Ивановна с Глюкозовой или Клейнгауз. Он чувствовал себя хорошо в ее обществе. Прасковья Львовна под каким-нибудь предлогом исчезала, и Сажин вдвоем с Анной Ивановной уходили куда-нибудь в уединенную аллею, разговаривая о своих делах. Между ними уже успела установиться известная короткость отношений, и Анна Ивановна больше не стеснялась своего кавалера. Ей делалось скучно, когда его не было. Сажин по-прежнему держал себя с подкупающей простотой и незаметно вошел в мирок сдержанной, серьезной девушки. Он интересовался ее гимназическими воспоминаниями, семейной обстановкой, школой, планами будущего и в то же время рассказывал о себе, как слушал лекции с доктором Вертеповым в университете, как путешествовал за границей, и поверял ей свои задушевные мечты и желания. Иногда Анна Ивановна удивлялась самой себе, как она могла рассказывать Сажину все то, чтó имело такой исключительно личный интерес, но это не мешало быть разговорам задушевнее, и девушка начала жить только от одной такой встречи до другой. Она не пыталась даже дать себе отчет в том увлекающем и манящем чувстве, которое так неудержимо тянуло ее вперед.

Плохая военная музыка из захолустных горнистов зудила надоевший всем персидский марш; сквозь просветы лип косыми лучами резало воздух закатывавшееся солнце, а они шли по любимой липовой аллее, где было совсем пусто.

— Не правда ли, в нашей судьбе есть много общего? — говорил Сажин, делая вольт своею тростью. — Взять хоть семьи, из которых мы вышли... Это такая мелкая и несчастная жизнь, придавленная собственными плутнями. Помню, как в первый раз мальчиком я попал на исповедь к какому-то начетчику, — вот было ужасное впечатление! Я припомнил этот случай, как лучшую характеристику наших нравов, хотя собственно раскольничья среда гораздо лучше и выше по своему развитию.

Сажин неловко замолчал, припомнив, что раскольничья неприличная исповедь всей своей тяжестью обрушивается главным образом на женщин и несчастные девушки выходят от исповедников с заплаканными и испуганными лицами. Этот намек заставил Анну Ивановну вспыхнуть: с ней чуть не сделался обморок в первый раз после исповеди, а потом она всегда с ужасом думала об этом испытании.

— Да, вот даже такая обстановка не в состоянии заглушить в людях лучшие инстинкты и порядок известных идей... — продолжал Сажин, стараясь поправиться. — Меня больше всего радуют наши русские женщины. Ведь в них все наше будущее, потому что они сделаются воспитательницами будущих поколений. Как хотите, а первые детские впечатления — это святая святых человеческой души. Будущее светло, и стоит жить. Не правда ли?

Она ничего не отвечала, наблюдая кривую линию, которую оставлял на песке до-

рожки ее волочившийся по земле зонтик. Звуки доносившейся музыки замирали. Впереди аллея делалась светлее. Узорчатые тени прихотливо бродили под деревьями, обрисовывая силуэты сучьев и скученной листвы. Отдельные солнечные пятна, пронизывавшие листву, точно приковывали эти тени к земле золотыми гвоздями. Он взял ее за руку; она повиновалась и шла по-прежнему молча.

— Не правда ли, какой сегодня отличный вечер? — шепотом проговорил он, чувствуя, что у него пересохло в горле.

— Да...

Он тихо засмеялся, а она взглянула на него потемневшими счастливыми глазами. Глупая и банальная фраза говорила им о другом, что понимается и чувствуется без слов. Звуки музыки едва доносились. Аллея кончилась, и нужно было возвращаться. Зачем такие счастливые аллеи всегда слишком коротки и не продолжаются до бесконечности, как это делают в гимназических учебниках все параллельные линии! На повороте Анна Ивановна вдруг выдернула свою руку из руки Сажина и сделала торопливое движение. Из боковой аллеи к ним навстречу шли под ручку Пружинкин и Ханов. Последний был сильно пьян и выделывал ногами вензеля.

— Владимир Аркадьич... вы этак маленечко попрямее держите свою личность... — уговаривал Пружинкин, заметив подходившего Сажина и Анну Ивановну. — Нехорошо-с, Владимир Аркадьич! Ей-богу-с! Только конфузите Софью Сергеевну!

— Я... что-о такое-е? — мычал Ханов, не

узнавая проходившего Сажина. — Да... я... э... э... кто это прошел? Она в брачном оперении?

— Пойдемте, сударь... — напрасно тащил Пружинкин пьяного старика.

Но с Хановым трудно было сладить. Он остановил Сажина, протер глаза и улыбнулся.

— Удивительный Павел Васильевич... — бормотал он, сильно накрениваясь набок. — Э... э... вон оно куда пошло!.. Не-е-т... позвольте-с!.. Я к вам, м-л-ст-вый с-дарь, секундантов...

— Пожалуйста, оставьте! — сухо ответил Сажин, отталкивая пьяницу. — Вы забываетесь!

— Я? Слышишь, Пружинкин? Забываетесь!

— Ради Христа, пойдемте своей дорогой! — уговаривал его Пружинкин.

Но Ханов стоял на одном месте, провожая глазами догонявшего Анну Ивановну Сажина, и своим хриплым голосом пел:

> Мой совет, до обрученья
> Две-е-ерь не отво-о-ряй!..
> Ха-ха-ха!..

Сажин был взбешен и жалел, что не дал пощечины этому старому мерзавцу, который испортил своим появлением всю поэзию чудного вечера. Анна Ивановна шла молча, с опущенными глазами. Музыка больше не играла, и с каждым шагом вперед все увеличивался приливавший шум гуляющей толпы. В вершине старой березы каркнула ворона. Анне Ивановне вдруг сделалось страшно, как это иногда случается в детстве — безотчетно страшно. Ей захотелось вернуться, чтобы

уйти от всех. Он угадал ее мысль, но, не желая компрометировать девушку, твердой походкой направился вперед, к центральной площадке, над которой, как крылья подстреленной птицы, неподвижно висели полинялые пестрые флаги и публика сбилась кучками за отдельными столиками.

— Когда мы увидимся, Анна Ивановна? — спросил Сажин, делая усилие над собой.

— Когда хотите. Впрочем, я не знаю, что говорю... — тихо ответила девушка и пошла навстречу показавшейся впереди Прасковье Львовне.

Докторша сделала вид, что не замечает Сажина, который неловко постарался уйти в толпу, где опять наткнулся на Ханова, который, к счастью, не узнал его. Зато навязался Вертепов, который непременно хотел затащить Сажина на эстраду Софьи Сергеевны.

— Представь себе, она меня прогнала! — жаловался он со своей обычной развязностью. — Так-таки прямо и прогнала, да еще прибавила, что вообще ненавидит меня. Решительно, не пон-ни-маю!

На эстраду к генеральше Сажин не пошел: там сидел губернатор. При выходе из сада он встретился с Куткевичем и Белошеевым, которые о чем-то оживленно спорили. Сажин сделал вид, что не замечает их, и прошел мимо. Он был доволен, что так счастливо выбрался из сада и мог остаться совершенно один. Какое это счастье быть одному, когда никто не мешает ни одной вашей мысли. Быстрые летние сумерки окутывали город темным покровом. В домах зажигались огни.

На тротуарах попадались таинственные парочки, искавшие уединения. От городского сада, выходившего на Наземку, Сажину нужно было сначала пройти по шоссированной набережной, а потом повернуть в Консисторскую. Он шел бодрой, веселой походкой, помахивая палкой. На повороте с набережной его обогнал злобинский экипаж — он узнал и лошадь, и кучера, и Анну Ивановну, которую провожала Прасковья Львовна. Сажин остановился, проводил глазами экипаж и почувствовал себя необыкновенно хорошо. Не вернуться ли ему опять в сад? Нет, там опять начнут приставать к нему... Сажин пошел прямо домой и очень был доволен, что у Василисы Ивановны еще горел огонь. Он прошел прямо к ней и попросил чаю.

— Можно и чаю... — ответила старушка и пытливо посмотрела на неожиданного гостя.

— Вы что́ это, Василиса Ивановна, все дома сидите? — спрашивал Сажин, когда отхлебывал из стакана горячий душистый чай.

— А... так. Куда мне ходить-то?

Старушка печально вздохнула. Сажин посидел с ней, старался рассказать что-то смешное, а потом ушел к себе наверх. Как это тяжело, когда человеку даже идти некуда и никому до него нет дела... ведь это живая смерть!.. И сколько таких людей дотягивает свой век по печальной необходимости, а он, Сажин, еще так полон жизни, и будущее для него открыто. Да, он будет счастлив, как никто другой, и счастлив уже теперь, потому что вот сейчас чувствует в себе биение этого необъятного чувства, которое творит чудеса.

Увлеченный внутренним радостным настроением, Сажин даже попробовал что-то запеть, но потом сам засмеялся от фальшивой рулады: у него был хороший, свежий голос и полное отсутствие музыкального слуха.

В кабинете на столе лежал знакомый серый конверт с тонким почерком Софьи Сергеевны. Сажин поморщился и, разорвав непрочитанное письмо на четыре части, бросил его в корзину. Ему припомнилась встреча в саду с пьяным Хановым, потом широкая губернаторская спина, наклоненная к Софье Сергеевне.

— Как все это, однако, глупо! — вслух проговорил Сажин, проводя рукой по лбу, точно он хотел стереть какие-то тяжелые воспоминания.

Ни читать, ни писать он сегодня не мог и поэтому бродил по пустым комнатам, рассматривая обстановку, точно он вернулся в свою квартиру из какого-то очень далекого путешествия. Да, было порядочно-таки пусто, и везде такой беспорядок. Из его кабинета окно выходило в сад, который срастался со злобинским садом. Сажин распахнул раму и, заложив руки за спину, долго смотрел туда, где, как светляки в траве, теплились два пятна — это горел огонь в комнате Анны Ивановны. Что-то она теперь делает? Сцена в саду встала перед ним живьем: она его тоже любит и, может быть, думает сейчас о нем. О, милая, милая девушка! Сто́ит жить для одной тебя!.. Да, жить серьезно, работать, приносить пользу другим и так дойти рука об руку до могилы. Ему припомнились первые

встречи с Анной Ивановной у генеральши, потом в земском собрании, в школе, опять у генеральши... Да... он полюбил ее с первого раза и только не мог дать себе отчета в собственном чувстве. А она? Неужели и она переживает то же, что чувствует сейчас он? Какая отличная ночь, и как тяжело сидеть теперь одной Василисе Ивановне, которой даже идти некуда!

Эти любовные грезы и воспоминания омрачались какой-то тайной мыслью, и Сажин опять проводил рукой по лбу, широко, всей грудью вбирая свежий ночной воздух.

— Да... бывает очень скверная «маленькая правда»... — думал он, заглядывая в стоявшую под столом корзину с бумагами, где валялось разорванное письмо генеральши.

XV

Отношения между Анной Ивановной и генеральшей вдруг изменились как-то без всякой видимой причины, что неприятно поразило девушку. Софья Сергеевна видимо тяготилась ее присутствием в своем салоне, а к Марфе Петровне совсем не заглядывала уже целый месяц.

— Что я такое сделала? — спрашивала девушка Прасковью Львовну.

— Э, глупости! — уклончиво отвечала докторша и начинала бранить Сажина.

Выходило самое фальшивое положение, и Анна Ивановна провела конец лета у себя дома. Она была слишком счастлива, чтобы обращать внимание на все, что делалось кру-

гом. Сажин бывал в злобинском доме почти каждый день. Марфа Петровна встречала его радушно, но как-то странно: она точно сердилась на него. Но он медлил предложением просто потому, что слишком был уверен в успехе... Да и к чему эти глупые формальности, когда они не говорили друг другу о своей любви — им было слишком хорошо без слов. Читать вместе, бродить по аллеям запущенного злобинского сада и мечтать о будущем — что могло быть лучше? Она сама опиралась на его руку и прижималась головой к его плечу. Такой славный был этот злобинский сад, особенно по углам, где зелеными шатрами раскинулись черемухи и рябины. Песок на дорожках давно пророс зеленой травой, неподрезанные акации хватали своими мягкими ветвями прямо за лицо; пахло левкоями и резедой. По вечерам Марфа Петровна любила напиться чайку на садовой террасе, обмахиваясь платочком.

В один из таких вечеров (стоял уже август), когда Марфа Петровна ушла в комнаты по своим хозяйским делам, а бойкая Агаша с лукаво потупленными глазами убирала чайную посуду, они сидели на этой террасе и говорили о наступающей сессии осенних земских собраний, о школе и других занятиях, какие приходят вместе с осенью.

— Да, скоро зима!.. — с какой-то грустью заметила Анна Ивановна.

— Из моего кабинета через сад видно, как горит в вашей комнате огонь... — проговорил Сажин. — Вы, должно быть, долго занимаетесь по вечерам?

— Как случится.

Анна Ивановна так хорошо покраснела и опустила глаза. Она из своего окна тоже наблюдала огонь в сажинском кабинете и знала, когда он дома и занят. Эти два огонька служили им маяками.

Убиравшая посуду Агаша засмотрелась на садовую калитку со стороны двора и уронила чашку, которая разбилась с жалобным звоном, как лопнувшая струна.

— Скажи, что я разбила... — проговорила Анна Ивановна, желая спасти Агашу от неприятностей.

— Нет! Пусть буду я виноват, — вступился Сажин.

Но Агаша даже не обратила внимания на это великодушие и продолжала как-то растерянно смотреть на калитку. По двору в сад шла торопливыми маленькими шажками Софья Сергеевна, одетая в амазонку и черный цилиндр с откинутой назад длинной синей вуалью. Она небрежно поддерживала одной рукой волочившийся по земле шлейф и смотрела прямо на террасу. Анна Ивановна побежала к ней навстречу, а Сажин поднялся с садового кресла и нетерпеливо сделал несколько шагов по террасе.

— Я, кажется, вам помешала? — говорила Софья Сергеевна, крепко пожимая руку Анны Ивановны.

— Как вам не стыдно говорить такие вещи? — вспыхнув, проговорила девушка.

— Ну, виновата, голубчик!.. Не всякое лыко в строку!

С Сажиным она поздоровалась издали

легким кивком головы и руки не подала. Сажин ответил молчаливым поклоном и только пробарабанил по ручке кресла какой-то лихорадочный марш. Анна Ивановна с недоумением смотрела на них и чувствовала себя в самом глупом положении. Генеральша заметно старалась подавить свое волнение, и на щеках у нее румянец выступил пятнами. Она болтала и смеялась, делая вид, что не замечает молчавшего Сажина, который то вытягивал свои длинные ноги, то подбирал их и как-то глупо смотрел в сторону, где у садовой стены уже с час серый котенок сторожил воробья. Среди разговора генеральша как-то бегло вглядывалась в выражение лица Анны Ивановны и несколько раз ударила маленьким хлыстом по валику диванчика.

— До свидания, Анна Ивановна! — неожиданно проговорил Сажин, поднимаясь с места.

— Куда же это вы, Павел Васильевич?

— Извините... мне некогда!

— Зачем вы его удерживаете, крошка? — с улыбкой заметила Софья Сергеевна, не отвечая на поклон Сажина. — Разве вы не видите, что он бежит? Ха-ха-ха! Да... наш великий человек бежит.

— Я не понимаю, Софья Сергеевна, что все это значит? — спрашивала Анна Ивановна, с трудом переводя дух.

Генеральша провожала глазами уходившего Сажина и только чуть заметно покачивала своей головкой, точно каждый сажинский шаг отдавался в ее сердце. Наступила неловкая пауза. Потом генеральша обняла

Анну Ивановну за талию и ласково повела с террасы в сад. Она задыхалась, и прежний румянец сменился смертельной бледностью. Агаша собрала перемытую посуду на поднос и с сердитым лицом потащила все в комнаты: ей было жаль Сажина, который дарил ей деньги, когда был в духе.

— Что такое случилось? — спрашивала Анна Ивановна, предчувствуя беду.

— Да... он бежал! — повторяла Софья Сергеевна, как во сне, не отвечая на вопрос. — Великий человек бежал! Анненька, вы его любите? — неожиданно, как-то в упор, спросила она, останавливаясь. — Впрочем, к чему такой вопрос? Ваши глаза, голубчик, отвечают за вас!.. Нет, все это слишком гадко, чтобы напрасно смущать вашу чистую душу. Будет... довольно!

Голос маленькой генеральши дрогнул, и она быстро закрыла свое лицо платком. Другой рукой она бессильно схватилась за грудь, точно хотела удержать рвавшиеся слезы.

— Вот здесь его письма... — бормотала она, путаясь рукой в складках амазонки. — Прочтите. Может быть, это откроет вам глаза на то, что мы, женщины, узнаем слишком поздно.

В руках Анны Ивановны очутилась целая связка смятых писем, по которым она сейчас же узнала сажинский почерк. Да, это были его письма, полные любви и желаний, еще не успевшие остыть от согревавшего их безумного огня. «Моя маленькая фея»... «хорошенький ребенок»... «крошка Зося»... — вот эпитеты, которые зарябили теперь в глазах Анны

Ивановны, точно она читала свой смертный приговор.

— Я верю вам, Софья Сергеевна... и благодарю... — прошептала девушка, возвращая недочитанные письма и напрасно стараясь овладеть собой. — Да... это был сон... страшный сон! Вы меня спасли от последней, непоправимой ошибки.

Генеральша рыдала, закрыв лицо обеими руками и тяжело вздрагивая всем маленьким телом. Потом она начала ломать руки и, бросив хлыст в траву, в ужасе проговорила:

— Я не должна была этого делать... не должна! Все равно прошлого не воротишь, а зачем я разбила ваше счастье? Он не злой человек и, по-видимому, любит вас. Голубчик, позабудьте все, что я говорила, а эти проклятые письма...

— Софья Сергеевна! Предоставьте это моей совести!

— Нет, нет!.. Это — вычитанная фраза!.. Жизнь полна ошибок, и нужно уметь жертвовать собой! Я не выдержала характера до конца... потом это бегство! Не правда ли, как он возмутительно держал себя сегодня?

В пылу охватившего ее раскаяния, генеральша целовала руки Анны Ивановны и даже сделала попытку опуститься перед ней на колени.

— Вам гадко на меня смотреть? — спрашивала она, опять принимаясь ломать свои руки. — Да... я глупая, гадкая женщина... я позволила увлечь себя этими разговорами! Анненька, забудьте нынешний день, а я уеду отсюда, чтобы не мозолить вам глаз!

— Мы об этом поговорим после, а теперь вам нужно успокоиться... — уговаривала Анна Ивановна, поддерживая грёзовскую генеральшу под руку. — Теперь я ничего не понимаю.

Софья Сергеевна тащилась по дорожке расслабленной походкою, убитая и несчастная: она то подбирала, то роняла свой шлейф, потеряла мокрый от слез платок и время от времени всхлипывала, как это делают капризные дети.

— Конечно, нехорошо, когда девушка делает партию... — рассуждала она, тяжело дыша. — Это возмутительно, как было и со мной. Но ведь еще хуже покупать ласки и поцелуи женщины ценой своей популярности. О, это слишком низко, в тысячу раз хуже того, как продают себя кисейные барышни старикам. А потом этот обман, мелкий и трусливый обман, которому нет названия. Я понимаю, что он в тысячу раз умнее меня. За что же я любила эту голову? Может быть, он лучше меня, но это еще не дает права обманывать глупенькую, доверчивую женщину. А он еще уверял меня и клялся, что так меня любит...

В это время у ворот происходила другая сцена. Пружинкин сидел на скамеечке, приткнутой к калитке, и держал в поводу двух верховых лошадей. Он провожал генеральшу в качестве грума. В приотворенную половинку дверей подъезда выставлялась голова Марфы Петровны.

— Ты это что, голубчик, на старости-то лет в конюха записался? — спрашивала голо-

ва из подъезда. — Арапом за генеральшей ездишь?

— Ах, какая вы, право, Марфа Петровна! — оправдывался Пружинкин, вытирая лицо платком. — Как же Софья Сергеевна одни поедут? Подпруга лопнет... лошадь испугается... попросили меня проводить, ну, я и поехал, потому — отчего не проводить, ежели дама просит? Это уж так принято у образованных людей.

— Перестань дурака валять! — сурово оборвала Марфа Петровна и совсем другим тоном прибавила: — А видел, как именинник-то прострелял из саду? Ловко его, надо полагать, твоя-то генеральша приняла!.. Ну, да таковский, у самого в зубах не завязнет; отъестся от семи волков! Бабенку-то жаль, совсем понапрасну только ее окружил! Она хоть и заправская генеральша, прямо сказать, а оно и с генеральшами то же бывает, как с самыми провалющими бабами. Курицу — кормом, а нашу сестру, бабу, словами обманывают.

— Не наше это дело, Марфа Петровна-с!

Прибежавшая впопыхах Агаша предупредила, что генеральша идет по двору, и хитрая старуха опять спряталась за дверь. Она посмотрела, как Софья Сергеевна, при помощи Пружинкина, легко вскочила в седло, натянула поводья и курц-галопом поскакала вдоль улицы, точно хотела улететь от самой себя. «Нечего сказать, прыткая бабенка», — подумала Марфа Петровна, затворила подъезд и спросила вытянувшуюся Агашу, где барышня.

— Они ушли к себе в комнату и дверь на ключ заперли. Генеральша в саду очень плакали.

— Дура! Тебя кто об этом спрашивает?

Обругав горничную еще раз, старуха поплелась на свою половину. По пути она прислушивалась у дверей в комнату дочери, где было тихо, как в могиле, покачала головой и пошла дальше.

«Лишнее, видно, сболтнуло их-то превосходительство! — думала она, пробираясь по коридорчику. — Оно, конечно, со всяким грех может быть. Ох-хо-хо! Горе душам нашим! Только с холостого человека непокрытому месту-вдове нечего взять: прилетел, как ветер, поиграл и был таков!»

Анна Ивановна слышала, как подходила мать к двери, и даже затаила дыхание, — ей и без того было слишком тяжело... Да... теперь все погибло и навсегда... самое чистое и дорогое чувство разбито... возврата нет. Ей было даже страшно думать о том счастливом обмане, каким она жила час назад. Потом ей начинало казаться, что все это был один сон и что ничего подобного не могло случиться, — ведь она так верила в этого человека, которого выбрало ее сердце. И тут обман — самый худший из всех обманов... В душе девушки проносился быстрый ряд самых ревнивых картин: как он писал свои письма «маленькой фее», как целовал это улыбавшееся, счастливое детское лицо, как говорил свои остроты для одной «крошки Зоси» и как уходил домой, довольный и счастливый дешевой победой.

— О, как это гадко... как это ничтожно... — стонала девушка, пряча голову в подушки.

Осенняя ночь уже обложила город свинцовыми облаками. Мохов засыпал, улицы пустели. Злобинский сад не видал уже двух огоньков, приветливо глядевших через него друг на друга. Сажин не заходил домой и долго бродил по городу, не зная, куда деваться. Несколько раз он подходил к квартире генеральши, но не решался позвонить. Разве она — эта грёзовская головка — любила его... могла любить, а между тем из-за минутной вспышки отравила всю жизнь двоим. Может быть, она удержалась! Вспомнив покрытое пятнами лицо Софьи Сергеевны и как она била своим хлыстом по дивану, он понимал, что все потеряно и что возврата нет. Он видел, как живую, эту девушку, глядевшую на него с немым укором, и ему делалось совестно за нее. Домой он вернулся только в полночь, и Семеныч передал ему маленький конверт без адреса. Он пришел в столовую и, при свете стеаринового огарка, прочитал:

«Вы понимаете мои чувства и мое положение, Павел Васильевич, поэтому, надеюсь, избавите меня от ненужных встреч. У меня в душе остается еще настолько уважения к вам, что вы не унизите себя жалкими объяснениями и оправданиями. Прощайте навсегда. А. З-а».

И только... Ни жалоб, ни слез, ни кривлянья — все кончилось так же просто, как и началось. Сажин почувствовал себя в положении того человека, который неожиданно

попал в темную комнату и в ушах которого еще стоит звон повернувшегося в замке ключа — выхода нет. Схватив себя за голову, Сажин глухо зарыдал...

XVI

В салоне генеральши Мешковой произошла маленькая революция. Сажин и Анна Ивановна, конечно, больше не показывались, и это внесло заметную пустоту в господствовавший состав постоянных посетителей. Все чувствовали, что чего-то недостает, и бранили Сажина, как главного виновника. Особенно неистовствовала Прасковья Львовна, огорченная в лучших своих чувствах, как она выражалась.

— Мне всегда этот Сажин казался подозрительным... — говорила она в интимном кружке. — Помилуйте, так могут делать какие-нибудь юнкера или парикмахеры.

— Это подлец! — провозглашал откровенно Ханов, счастливый случившимся скандалом. — Порядочный человек так не сделает: стянул две-три безешки, и тягу... Притом разыгрывать из себя узурпатора, диктатора, моховского Гамбетту...

Сама Софья Сергеевна ничего не говорила про Сажина и раза два даже попробовала его защищать, хотя это вызвало настоящую бурю негодования. Курносов, Ефимов, Петров — все были против Сажина, и каждый прибавлял в общее настроение что-нибудь свое: это — краснобай и эгоист, самолюбивый болтун и т. д. Одним словом, салон решился дать

отпор и только выжидал время. Все-таки за Сажина была громадная партия, и во главе «молодой Мохов», хотя доктор Вертепов уже обнаруживал некоторые признаки несомненного ренегатства. Так, он в салоне начал появляться чаще обыкновенного и очень умненько вышучивал Сажина в третьем лице.

— Право, я нахожу, что этот Вертепов совсем не так глуп, как я думала раньше,— объясняла Прасковья Львовна.— Конечно, он вертоват, но это уж такая живая натура!

Софья Сергеевна уверяла всех, что она терпеть его не может, и если не выгоняет из салона, то только по своей бесхарактерности. Действительно, были два случая, когда она наговорила Вертепову очень неприятных вещей.

Печальным свидетелем всего происходившего был один Пружинкин, который никого не обвинял, а только скорбел за всех. Да, старику было тяжело, и он чувствовал себя здесь уже чужим человеком, которому остается только уйти незаметным образом.

— Ты устрой какую-нибудь пакость, вот хоть с Прасковьей Львовной,— советовал ему Ханов,— а потом и в подворотню, как Павел Васильевич... В самом деле: умных слов ты много теперь знаешь и можешь показать свою прыть в качестве сына народа. Прежде мы просто развратничали, а нынче обманул бабу или девку, которая под силу, и сейчас: «мне ваши убеждения, сударыня, не нравятся»... Я вот давно хочу добраться до убеждений этой толстухи Клейнгауз.

Пружинкин ничего не возражал злорадст-

вовавшему крепостнику и только грустно вздыхал: нужно было уходить... Он так и сделал... На прощанье Софья Сергеевна крепко пожала ему руку, хотела что-то сказать, но вся побледнела и только махнула рукой.

— Эх, ваше превосходительство... ваше превосходительство... — бормотал старик со слезами на глазах... — Как же теперь Теребиловка?

Софья Сергеевна ничего не могла сказать относительно Теребиловки и попросила Пружинкина не забывать ее. Когда он уже вышел в переднюю, она его вернула и порывисто проговорила:

— Если увидите Павла Васильевича, скажите ему, чтобы он берегся не своих врагов, а друзей.

— Хорошо-с, ваше превосходительство...

Пружинкин опять очутился в своей избушке и находил утешение только в обществе Чалки, который завертывал теперь к нему каждое утро. Вышитые генеральшей туфли были убраны со стола, бережно завернуты в старый номер «Моховского Листка» и попали в ящик конторки, где хранились разные другие редкости.

— Ты как будто не в себе? — осведомлялся иногда Чалко. — Можно средствие запустить... Кровь у тебя сгустилась.

Фельдшер не понимал сосавшей Пружинкина тоски, меряя всех на свой аршин. Да, старик сильно тосковал и не имел духа завернуть к Павлу Васильевичу. Он не то чтобы обвинял его, а просто испытывал неловкое совестливое чувство при одной встрече с не-

давним кумиром. Все шло отлично, а тут все точно в яму провалилось... Даже в школе Пружинкин чувствовал себя чужим человеком и подозревал учительниц, особенно Володину, что они смотрят на него как-то подозрительно. То, да не то... Свои теребиловские дела, конечно, отнимали много времени, но все-таки выдавалась свободная минутка, и Пружинкина одолевала своя домашняя тоска.

В один из таких пароксизмов старик не выдержал и скрепя сердце отправился к Марфе Петровне. Давненько он не бывал в злобинском доме, и его тянуло проведать Анну Ивановну: что она и как?

— Милости просим, дорогой гостенек,— встретила его Марфа Петровна, ядовито прищуривая глазки.— Что запал?..

— Нездоровилось, Марфа Петровна...

— Так... Доигрался, видно, до самого нельзя?..

Пружинкин имел самый жалкий вид и скромненько уселся на самый кончик стула. В злобинском доме все было по-старому и стоял тот же воздух, пропитанный ароматом старинных специй. Та же Агаша оторопело металась по малейшему знаку, те же свертки в комоде «самой», тот же грубый голос у Марфы Петровны. На улице стояла зимняя вьюга, а здесь было так тепло и уютно, как в теплице,— злобинский дом и походил на теплицу.

— Рассказывай, чего молчишь?..— приставала Марфа Петровна:— вместе хороводился...

— Это точно-с, вышла маленькая ошибочка, хотя Павел Васильевич оказали Анне Ивановне большой преферанс...

— Да, ославили девку на весь город, а теперь я, видно, выкручивайся, как знаешь. Ну, да у меня короткие разговоры: есть кое-кто на примете. Не глянулся мне ваш именинник: пустой колос, голову кверху носит. Мы помоложе найдем...

— Уж это что говорить: свято место не будет пусто. Ежели насчет женихов, так это даже весьма просто... Первые невесты в городе, помилуйте.

— Нет, меня в слепоту какую привели тогда! — сердилась Марфа Петровна. — Точно вот ни глаз, ни ушей не стало... А все это твоя верченая генеральша: кругом окружила старуху. Вострая бабенка, надо чести приписать, а я и ослабела для нее...

— А как здоровье Анны Ивановны? — решился наконец спросить Пружинкин после предварительных переговоров.

— Кто ее знает: сидит у себя, как схимница... И то, думаю, не попритчилось бы чего с девкой. Своя кровь: жаль...

— Пройдет-с, когда время настанет.

— Все пройдет, да время-то дорого. Годки у Анны-то Ивановны тоже не маленькие, как раз зачичеревеет в девках... Всему роду поношение.

Потолковали о том о сем, а девушка так и не показалась. Пружинкин только потом догадался, что Марфа Петровна боялась его и не пустила к дочери: она его приняла за «переметную суму», сажинского посланца, мо-

жет быть, приходившего с «прелестными речами». Причины необъяснимой неприязни к Сажину у старухи заключались в самом обыкновенном житейском расчете: ей хотелось взять зятя в дом, притом такого человека, над которым можно «началить», а с этого немного возьмешь... Остаться одной на старости лет в своих хоромах ей совсем не хотелось. По раскольничьим домам так и делали: примут «влазня» и ломаются над ним до своей смерти, а потом влазень вымещает на жене накопившиеся унижения; другой причиной было отчасти то, что Сажин совсем «отшатился» от своей секты и живет басурманом.

Анна Ивановна, действительно, сидела в своей комнате, как в келье, ошеломленная всем случившимся. Она выезжала изредка только в театр, а потом опять погружалась в свое одиночество. Время ползло предательски медленно, не заглушая старой тоски. Те же книжки и тетрадки на столе составляли единственное развлечение, и девушка все глубже уходила в свой внутренний мир. Раз она сама вызвалась ехать с матерью в молельню: ей сделалось, просто, тошно в своей тюрьме.

— Никак девка за ум взялась!.. — обрадовалась Марфа Петровна и даже перекрестилась. — Устрой, господи, все на пользу...

Это было в Великий пост. Молельня помещалась в разрушавшейся старой часовне, которую консистория не позволяла ремонтировать. Все было здесь так же, как и раньше, низко и темно. Пред образами старинного письма теплились неугасимые лампады и тускло горели дымившие свечи. Мужчины

приходили в длиннополых полукафтаньях, женщины — повязанные старинными шелковыми платками и в сарафанах, как и Анна Ивановна. Были тут и богатые и бедные, с приторно-умиленными лицами и вкрадчивым шепотом. Прежде эта моленьня напоминала Анне Ивановне почему-то похороны, но теперь ей нравилась царившая здесь молитвенная тишина, нарушаемая только гнусливым раскольничьим пением. Дух времени проник и сюда: от старой перегородки, наглухо отделявшей мужскую половину от женской, осталось всего лишь несколько досок. Женщины входили неслышными шагами, истово раскланивались на все стороны и клали «начал». Исправлявший обязанности наставника седобородый старик кадил пред образами такой же «кацеей», какая была у Марфы Петровны дома. Анна Ивановна залюбовалась двумя красавицами сестрами из старинной семьи Корягиных. Они пришли со своей бабушкой, которая подошла к Марфе Петровне и шепотом о чем-то разговаривала с ней, показывая глазами на Анну Ивановну.

— Твоя дочь-то будет? — спрашивала старуха Марфу Петровну.

— Моя...

— Славная девушка. А как звать?.. Что же, хорошее имя... Прежде в нашем роду три Аннушки было.

Грустная раскольничья служба теперь нравилась Анне Ивановне, совпадая с ее личным настроением. Да и кто счастлив из собравшихся здесь, особенно из женщин? Девушка внимательно вслушивалась в слова читавшей

ся службы, и на нее действовало успокаивающим образом это последнее пристанище от зол и напастей бурного житейского моря. Молодость проходит скоро, да и какая это молодость!.. что же остается?.. Ей делалось страшно за будущее, именно за ту страшную рознь, которая отделяла действительность от того, к чему тянуло душой.

Однажды, когда Анна Ивановна сидела в своей комнате, дверь неслышно отворилась, и в нее неслышно вошла та самая старуха Корягина, которую она встречала в моленьне. По старому раскольничьему обычаю, напоминавшему Восток, она оставляла свои башмаки в передней и как дома, так и в гостях ходила в одних чулках, как было и теперь. Присмотрев из-под руки образ, не мазанный ли, она помолилась и довольно бесцеремонно подсела к столу.

— А я вот в гости к тебе пришла, умница... — спокойно говорила старуха, оглядывая Анну Ивановну с ног до головы испытующим, проницательным взглядом.

— Очень рада.

Этот визит продолжался всего с четверть часа, но Анна Ивановна вся сгорела от стыда: старуха так нахально рассматривала ее и даже, под предлогом посмотреть материю на платье, пощупала руки и ноги, точно сомневалась, что они настоящие. Так же внимательно она осмотрела всю комнату, сходила за ширмы и даже заглянула под кровать. Старое сморщенное лицо сто раз впивалось в нее слезившимися темными глазами, верным взглядом оценивая все «статьи». Догадавшись, за-

чем прилетела эта птица, девушка замолчала и отвечала на вопросы очень сдержанно.

— Славная у тебя комнатка, девица, только вот книжки гражданской печати зачем?.. — ворчливо повторяла Корягина.

— Это уж мое дело.

— Так, так... У всякого свое дело. Ну, да это пройдет... Не первая ты, девица, с гражданской-то печатью. У нас так-ту, в третьем году, парня у Селянкиных женили, так невеста-то тоже была с гражданской печатью, а потом ничего, прошло. Совсем славная бабочка вышла...

Когда нахальная старуха ушла, Анна Ивановна отправилась к матери и заявила очень решительно, чтобы ее избавили на будущее время от таких непрошеных визитов.

— Чего она тебе помешала, Домна-то Ермолаевна? — удивлялась Марфа Петровна. — Не очень фыркай... Может, и пригодится когда. Старуха-то очень хотела на тебя посмотреть...

— Если вы будете подводить таких свах, я запрусь на ключ...

— Ишь, прытка больно!.. Что же, бесчестья тут нет: худой жених хорошему дорогу показывает... А тебе будет дурить-то.

Явилась и другая старуха, из той же породы раскольничьих свах, но Анна Ивановна под каким-то предлогом выпроводила ее в гостиную, а сама заперлась на ключ. Марфа Петровна долго стучалась к ней в дверь и получила в ответ:

— Мама, оставьте меня в покое...

— Доченька, рождение мое, да ведь я тебе

же добра желаю! — плакалась у двери Марфа Петровна, а потом быстро перешла в решительный тон: — Говорят тебе, выкинь дурь из головы, а то я по-свойски разделаюсь... У меня есть хорошая ременная лестовка...

Ответа не последовало.

XVII

Сажин был выбран на второе трехлетие председателем земской управы и весь ушел в свою земскую работу. Теперь он поднялся до зенита своей земской славы и почувствовал под ногами твердую почву. Одно его имя составляло уже некоторый ценз. Провинциальная публика преклонялась пред ним, хотя история с маленькой генеральшей не была еще забыта и при всяком удобном случае выплывала на свежую воду. Работа унесла с собой личные неприятности, и Сажин был доволен своим положением, хотя по временам на него находили моменты глухой тоски и он задумывался о том, что можно было бы устроить жизнь несколько иначе.

За это недолгое время «молодой Мохов» успел расстроиться, как и салон Софьи Сергеевны. Доктор Вертепов, со свойственной ему живостью характера, перекочевал под крылышко грёзовской генеральши и, как гласила неугомонная молва, пользовался здесь всеми правами и преимуществами, законом не предусмотренными. За ним последовал Куткевич, который разошелся с Сажиным без всякой видимой причины. Налицо оказались: Белошеев, круглый и, вдобавок, очень самолюби-

вый дурак, и Щипцов, давно надоевший Сажину своим гражданским нытьем и какими-то неясными для него подходцами. Выходило так, что около Сажина образовалась пустота, которой он не подозревал до последнего решительного шага.

Партии так перепутались и сплелись между собой, что, по меткому определению самого Сажина, налицо оставалось всего две — «старонавозная» и «новонавозная». Дольше других стояла клубная, или «капернаумская» партия, но и та примкнула к старонавозной. Эти клички образовались сами собой из затянувшихся старых санитарных вопросов: противники Сажина не хотели их признавать, а он тянул в сторону санитарных комитетов. Его главными сторонниками были члены докторской партии, очень влиятельной и сильной, выступавшей с широкой программой. Сажин был душой подвигавшегося вперед дела, и победа была не за горами.

Но в момент наибольшего напряжения сил боровшихся сторон случилось совсем неожиданное препятствие. Это было в середине трехлетия, когда были отвоеваны первые опыты. В качестве ответственного земского человека Сажин потребовал строгой отчетности и земского контроля над деятельностью врачей. Этого было достаточно, чтобы поднять на ноги десяток мелких провинциальных самолюбий, — и вспыхнуло жестокое междоусобие в среде новонавозной партии. В самом деле, все шло отлично, земство работало, и вдруг... Врачи обиделись недоверием земства, Сажин доказывал, что это нравственная обя-

занность — давать отчет в каждом земском гроше. Всего интереснее было то, что козлом отпущения явился теперь Сажин, против которого были обе партии — и старонавозная и новонавозная. В столичные газеты полетели обличительные корреспонденции, посыпались сплетни и пересуды, и недавний земский божок был втоптан в такую грязь, из какой трудно было вылезти. Его обвиняли во взяточничестве, в диктаторстве, во всевозможных упущениях и злоупотреблениях — одним словом, все болото заколыхалось. Сначала Сажин пробовал защищаться, но и у него опустились руки, когда во главе оппозиции он увидел своего университетского товарища Вертепова, которого он сам выписал в моховское земство, и старика Глюкозова, пользовавшегося безупречной репутацией честного и хорошего человека. Клевета, тайная и явная, подтасовка фактов, придирки и всяческие неправды теперь посыпались на голову Сажина, как раньше сыпались похвалы и восторги, точно общество хотело вознаградить себя за излишний расход хороших чувств.

Выдвинуты были вперед либеральные принципы, общественная совесть, ответственность перед плательщиками: надвигавшаяся докторская клика била теперь Сажина его же собственным оружием, и он, наконец, увидел, что он — один. Его недавние союзники не погнушались брататься с кабатчиками и волостными писарями: á la guerre, comme á la guerre.

Душой этого движения сделался салон Софьи Сергеевны, где царил теперь доктор

Вертепов, работавший рука об руку с Прасковьей Львовной, которая приняла самое деятельное участие в кипевшей свалке. Всего трагичнее было то, что против Сажина выступали люди, которых он искренно уважал, как чета Глюкозовых, и что именно эти люди теперь лезли на него с пеной у рта. За собой он не знал никакой крупной вины и старался только об одном — вести все дело спокойно. Решительный момент наступил в осеннюю сессию, пятую в его земской службе. Да, это было горячее время. Охлаждение к земским делам сменилось самым неистовым любопытством, и публику опять пришлось пускать по билетам. Михеич не знал, что ему делать на его ответственном посту. Публика несколько раз чуть не раздавила его в дверях.

— Милостивые господа... невозможно! — орал он, защищая грудью осаждаемый пункт. — Местов нету, говорят вам русским языком. Нету местов...

До последнего момента Сажин оставался спокоен и равнодушно смотрел на ряды своих врагов. Он даже был уверен в собственном успехе и очень развязно разговаривал с нейтральными единицами. А из публики на него смотрели десятки злых глаз: тут был и доктор Вертепов, и Куткевич, и Ханов, и Прасковья Львовна, сидевшая рядом с Софьей Сергеевной, и Курносов, и Петров, и Ефимов. Перед тем, как подняться к своему пюпитру, Сажин тревожно обвел эту публику еще раз глазами и успокоился — Анны Ивановны не было, а у окна на своем обычном посту сидел один Пружинкин, превратившийся, как

охотничья собака, в одно внимание. Председательствовал тот же «акцизный генерал», как и в первую сессию. Когда Сажин стал на свое место, ему бросился в глаза только что вышедший из типографического станка номер «Моховского Листка» с длинной поэмой на первой странице. Услужливая рука не только подсунула этот номер, но и подчеркнула красным карандашом название «Именинник». У Сажина зарябило в глазах от этой приятной неожиданности: его тащили в грязь в его собственной газете, и Щипцов нанес последний роковой удар. В стихах говорилось о нем не только как об общественном деятеле, но была поднята из могилы вся история с грёзовской генеральшей, подкрашенная и разбавленная самыми пикантными подробностями. В публике уже мелькали номера «Моховского Листка», и Сажин на мгновение растерялся. Впрочем, это было одно мгновение, — то малодушие, которое испытывает обойденный с тылу зверь.

«А, так вы вот как...» — думал Сажин, оглядывая собрание. Он теперь только понял, что всякая борьба напрасна: все были против него. Его нужно было выжить, и только тогда все успокоятся. Это стихийное, массовое чувство, действовавшее тем заразительнее, что для него не хватало серьезных причин, недостаток которых заменялся слепым азартом. Оставалось только умереть с честью. Земская битва продолжалась ровно 10 дней. Сажин никогда еще не говорил так увлекательно и делал в своем роде чудеса, но его слова и задушевные чувства уже не производили преж-

него впечатления и отскакивали, как горох от стены. Серьезные обвинения пали сами собой. Оставалось несколько мелких, чисто хозяйственных промахов и недочетов, какие возможны в каждом деле; за них и ухватились. Старонавозники и новонавозники торжествовали: красный зверь был обложен именно этими мелочами и пустяками. Развязавшись с сессией, Сажин добровольно отказался от председательского кресла и по пути вышел из гласных. Публика торжествовала, счастливая низложением «диктатора» и еще не предвидя того времени, когда ей придется горько пожалеть об удалении Сажиных из состава земства, когда «черные сотни» кулаков и маклаков вытеснят из многих земств всякое участие представителей интеллигенции.

Домой Сажин принес горькое чувство несправедливой и ничем не заслуженной обиды. Лично он мог быть даже нехорошим человеком, но, как земский деятель, он считал себя безупречным. Оплеванный, разбитый нравственно, он мог сказать только одно: за что же?.. Ответа не было и не могло быть. За ним стояла глухая ненависть и навсегда погибшая репутация.

— Они придут еще ко мне!.. — говорил он иногда самому себе и сжимал кулаки. — Они дорого заплатят за этот coup d'etat.

Но это были детские мечты, и в следующую минуту Сажин сознавал, что никто к нему не придет и земство отлично обойдется без него. Ему оставалось отсиживаться дома в обществе Василисы Ивановны и Семеныча. С «молодым Моховым» все было покончено, а

для новых знакомств и связей у него не было сил. Наступили тяжелые дни полного одиночества и безделья. Последнее было особенно тяжело после пятилетней горячки. Вместо живых людей оставались книги и газеты. Сажин шагал теперь по пустым комнатам, как зачумленный, и почти никто не заглядывал к нему из недавних друзей и почитателей.

В один из скверных октябрьских вечеров, когда шел мокрый снег, Сажин сидел в гостиной Василисы Ивановны, где теперь любил пить чай. Самовар добродушно ворчит на столе, Василиса Ивановна пощелкивает спицами, на стенке почикивают старинные часы, и время идет как будто скорее. За остывавшим стаканом чая Сажин расспрашивал старушку про старину, как жили прежние люди, про разную дальнюю родню, про общих знакомых и разные необыкновенные случаи моховской истории. Ему нравилось погружаться с головой в этот маленький мирок маленьких людишек с его маленькими интересами, напастями и радостями. Они сидели и теперь, разговаривая о старине.

— Так лучше было прежде-то? — спрашивал Сажин уже в третий раз, не замечая этого повторения.

— Конечно, лучше, а то как же?.. Нынче вот суеты больше, потому что начальство ослабело и страх в народе уменьшился...

В маленькой передней в это время послышалось предупредительное покашливанье, и в комнату вошел Пружинкин.

— Ну и погода, — говорил он, здороваясь. — Настоящий последний день Помпеи...

Сажин обрадовался появлению старого знакомого, — все-таки свежий человек. Они весело допили чай у Василисы Ивановны, а потом Пружинкин заявил, что он завернул собственно к Павлу Васильевичу «по одному дельцу».

— Пойдемте ко мне, — предлагал Сажин, обрадовавшись случаю перекинуться живым словом. — Я теперь совершенно свободен... Вы, вероятно, насчет навоза?

— Ах, Павел Васильич, Павел Васильич... — шепнул Пружинкин, когда они по узкой и темной лестнице поднимались из половины Василисы Ивановны наверх в столовую.

Сажин провел гостя прямо в кабинет и усадил в кресло.

— Так первое дело: навоз? — говорил он с улыбкой.

— Навоз навозом, Павел Васильич, а я к вам пришел по особенному дельцу, — политично тянул Пружинкин, разглаживая свою бороду. — Был я тогда в собрании, когда свергали вас... Ничего, Павел Васильич, потерпите: призовут-с!.. В ногах будут валяться... Уж вспомните мое глупое слово-с.

— Если будут валяться в ногах, так я, пожалуй, и пойду...

— Непременно-с!.. Теперь на наше земство и не глядел бы: как петух с отрубленной головой мечется, а толку все нет... Славный у вас кабинетец, Павел Васильич... Только вот обои надо бы переменить: запустить, например, под дубовую доску, или в том роде, как под бересту выкрасить. Видел я у одного барина этак же берестой разделано.

— Можно и под бересту...

Нехитрые речи отозвались в душе Сажина, как эхо собственных мыслей, и он вдруг почувствовал себя хорошо, как давно с ним не бывало. Одно присутствие Пружинкина уже действовало на него успокаивающим образом, хотя он припомнил случай, как выпроводил его тогда к Софье Сергеевне с просьбой «обезвредить». Даже отступления и болтовня Пружинкина теперь нравились Сажину. Конечно, этот мещанин — неисправимый мечтатель, но, право, в нем есть что-то такое...

— Оставайтесь ужинать, Егор Андреевич, — предложил Сажин, когда Пружинкин взялся было за шапку.

— Покорно благодарю, Павел Васильич...

За ужином старик окончательно разговорился и по пути рассказал все городские новости, хотя особенно интересного ничего и не было. Потом он достал из кармана захваченные на случай бумаги и посвятил Сажина в свои проекты еще раз.

— Кровью ведь все добыто!.. — азартно повторял старик, колотя себя в грудь кулаком. — Было посижено и было подумано.

— Хорошо, хорошо... Я все прочитаю, теперь у меня двадцать четыре часа свободного времени.

— Эх, Павел Васильич, Павел Васильич!.. Ну, да что́ тут толковать: все равно призовут-с...

XVIII

Русское время, в противоположность английскому, как известно, составляющему день-

ги, является в подавляющем большинстве случаев прямым дефицитом, особенно в провинции, где его даже убивать хорошенько не научились, как в столицах. Тянется, тянется, и конца ему нет... Именно так было с Сажиным, который опускался на своих глазах. Свои личные дела он забросил и проживал родительские капиталы день за днем. Этот недостаток заботы о насущном куске хлеба даже огорчал его: не было даже обыкновенной необходимости для всех — работать. Он вел ту странную жизнь, как это бывает только на святой Руси: отшельник не отшельник, а что-то в этом роде. Отсиживаться в четырех стенах — это оригинальная особенность всех русских «чудаков», каких немало является в каждом городе.

Скоро около Сажина набрался небольшой кружок таких же выкинутых за борт людей. В одно прекрасное утро заявился о. Евграф, занятый изобретением вечного двигателя. Это был начитанный человек с оригинальной складкой сомневающегося ума; но у него «недоставало одного винта», как объяснял Пружинкин. Он вошел в сажинский дом своим человеком. За ним явились: отставной подпоручик корпуса флотских штурманов Окунев, высокий и сгорбленный старик с желчным лицом и голым черепом; потом неизменный спутник Окунева, отставной архивариус сосредоточенного архива, Корольков, низенький, толстенький, улыбающийся человек с близорукими глазами и мыслью, рассеянно витавшей в каких-то невозможных архивных сферах. Окунев отлично знал высшую математику, играл

почти на всех инструментах и ничего не делал; это был гордый неудачник, ушедший в себя. Голый череп, нависшие брови и большие рыжие усы придавали ему вид заговорщика. Корольков тоже был неудачником, но робким и застенчивым, точно созданным самою природой со специальной целью служить дополнением Окунева. Вместе они составляли великолепную пару. Замечательно то, что и решительный Окунев и смиренный Корольков погибли одним способом: дорогу им загородил всего один «человек», через которого они никак не могли перелезть и должны были выйти из фронта. Пред Окуневым открывалась блестящая карьера образованного моряка, но он наткнулся на ставшего ему поперек горла капитана и принужден был бросить все. Служил где-то командиром волжского парохода, потом в какой-то промышленной компании и кончил тем, что бросил все и закупорился навсегда в Мохове. Все время уходило на музыку и высшую математику, причем Окунев доискивался математических законов в царстве гармонии и писал обширный трактат на эту тему, скрывая работу от всех, даже от Королькова, жившего в его квартире и на его средства. Этот последний отлично кончил университетский курс и славился как полиглот. Впереди была кафедра, но попался закулисный университетский человек, который предвосхитил профессуру, и Корольков навсегда утонул в глухом провинциальном болоте, где постепенно превратился в настоящую архивную крысу. Он собирал рукописи, старые книги, монеты, рылся по архивам и время от

времени в разных специальных изданиях печатал свои заметки. Его знания на провинциальном рынке не имели решительно никакой цены, и только столичные археологи обращались к нему иногда за различными справками и советами. Приобретя, по случаю, китайскую книгу, он выучился китайскому языку и сделал перевод двух статеек.

Эти никому не нужные люди приходили к Сажину каждый вечер и помогали вместе убивать ненавистное время. Иногда Окунев садился за старинный виртовский рояль и разыгрывал на нем свои композиции на разные суровые темы; иногда завязывался горячий спор по таким мудреным вопросам, какие они только могли общими усилиями придумать. Если все это надоедало, садились играть в карты — и за зеленым столом время заметно сокращалось.

Самым отчаянным спорщиком оказался о. Евграф, нападавший на музыку с особенным озлоблением.

— В самом деле, это замечательно, что самые глухие и мертвые моменты новейшей истории намечены наивысшим развитием музыкального творчества, — говорил о. Евграф, повторяя свою излюбленную мысль. — Оно и понятно, потому что для такого творчества не нужно ни высшего развития ума, ни чувства, поставленного на высоту общей творческой мысли, ни настоящего таланта. Музыканты эксплуатируют низший порядок человеческих инстинктов, вообще первичные субъективные ощущения... Пластика создала неувядаемую античную красоту, статуи Кановы; живопись

последних дней создает величайшие эпопеи, как ташкентская выставка Верещагина, и вообще захватывает шире и шире область чисто социальных явлений, а музыка повторяет вечно одно и то же на разные лады, как сказка про белого бычка. Мало этого, она своими убаюкивающими аккордами усыпляет последние проблески человеческого сознания, и господин Бокль говорит...

— Что же, по-моему, это совершенно верно, — поддерживал Сажин.

— Верно? — возмущался Окунев, начиная бегать по комнате. — Вы, господа, ничего не понимаете... Музыка — это высшее проявление мысли и чувства. Она уводит нас в тот необъятный внутренний мир, который важнее всех исторических событий, взятых вместе и порознь, важнее ваших войн, социальных комбинаций и всяких злоб дня. Да, только она одна удовлетворяет вечно неудовлетворенную жажду человеческого сознания и все те позывы и инстинкты, которые не находят себе другой формы выражения.

— Это уж область ясновидений и магнетизма... Джон Стюарт Милль говорит, что музыка развилась из акцента и таковым останется.

— А Джон Стюарт Милль ничего не говорит, что нужно есть постное по средам и пятницам и соблюдать посты? — иронизировал Окунев.

— Господин Бокль весьма ясно и доказательно указывает на это, когда говорит о влиянии пищи на характер и направление мысли отдельных национальностей. Естест-

венные науки развивают эту идею уже в подробностях, как господин Молешотт. Наука только подтверждает то, что происходит на практике. Постная еда — и постные мысли происходят... Ваша музыка будущего будет вся построена на пищеварении: что съел, то и сыграл.

Замечательно то, что все эти господа ничего не говорили о настоящем и даже не желали читать газет. Может быть, они не хотели этим тревожить свои наболевшие места или уже окончательно отрешились от «современной действительности», как говорил о. Евграф. Единственным слушателем умных разговоров был Пружинкин, счастливый тем, что опять попал в настоящую компанию. Он вообще благоговел пред всяким знанием и сидел с раскрытым ртом где-нибудь в уголке.

— Расчудесно... — умилялся он. — Ай да отец Евграф, какие выверты оказывает Окуневу.

Роль Пружинкина окончательно определилась: он являлся здесь единственным звеном, соединявшим ненужных людей с современной действительностью. Он приносил свежие газеты и письма, он узнавал, как и что делается в Мохове; он же хлопотал по разным делам — вынимал деньги из банков Сажину, отыскивал для него токарный станок, сдавал почту и т. д.

— Переезжайте ко мне, Егор Андреевич, — предлагал однажды Сажин. — В нижнем этаже найдется комнатка, а мне веселее.

— Нет-с, Павел Васильич... Как это можно! — сконфузился Пружинкин, тронутый до

глубины души.— А вдруг вас призовут?.. Тогда я куда денусь: свое гнездышко разорю и новое должен бросить... Потом я уж к Теребиловке весьма привык. Куда эта темнота без меня денется: и то надо и это надо, а ума ни у кого нет...

— А если вздумаете, так переезжайте. И Василисе Ивановне веселее будет...

В своем кружке все ненужные люди называли Пружинкина «Пятницей», что очень их забавляло. Действительно, они жили, как на необитаемом острове Робинзона, и Пружинкин ухаживал за ними, как нянька за детьми.

Раз зимой Пружинкин пришел в особенно грустном настроении и все вздыхал. С ним это иногда случалось, и Сажин не обратил внимания, лежа с газетой на диване.

— Павел Васильич...— тихо окликнул его Пружинкин и осторожно посмотрел кругом,— нет ли кого лишнего.

— Что прикажете, Егор Андреевич?..— ответил Сажин, не поворачивая головы.

— А ведь не ладно, Павел Васильич...

— Вы нездоровы?

— Нет, я-то слава богу, а вот Анне Ивановне господь судьбу послал...

Сажин бросил газету, сел на диван и смотрел прямо в глаза Пружинкину, как человек, который никак не может проснуться.

— Да-с, можно сказать, что даже сама она нашла судьбу-то...

— Какую судьбу? Ах, да, вышла замуж...

— Точно так-с, хотя и не совсем правильно, то есть не в полной форме. Убегом-с. Мар-

фа-то Петровна рвет и мечет, как лев... Два раза проклинала...

У Сажина не хватило духа спросить, с кем убежала Анна Ивановна, а Пружинкин тянул из него душу подробностями. По его встревоженному лицу Сажин видел, что старик очень огорчен и жалеет.

— Марфа-то Петровна свое хотела взять и уж женишка приспособила из своих федосеевских. Такой парнище несообразный и глаза навыкате... Ну, и свахи эти одолели, как осенние мухи. Анна Ивановна терпела всю эту музыку, а сама и виду не показывает. Безответная такая сделалась и только кой-когда к Прасковье Львовне съездит... А тут вдруг точно выстрелила: с Куткевичем и убежала.

— С Куткевичем? — крикнул Сажин, вскакивая. — Не может быть...

— Уж будьте спокойны... И повенчались где-то в деревне. Видно, Прасковья Львовна всю музыку оборудовала... А теперь дело на мир идет, Прасковья же Львовна и к Марфе Петровне с декларацией ездила: так и так, дело прошлое, не воротишь. Ну, старуха обыкновенно на нее медведицей кинулась сначала, ногами топала, а потом и смякла... Куткевич три раза сам приезжал к теще, она его не приняла. Конечно, так это, для характеру делается у них, а Куткевич обойдет ее...

Это известие подняло в душе Сажина давно похороненное чувство, и он никак не ожидал такой живучести. Сколько времени прошло, и с какой болью он переживал снова свою неудачную любовь! Да, она отвернулась

от него, но это не мешало ему по-прежнему любить, больше, чем тогда. Он опять видел Анну Ивановну, как живую, и смертельная тоска охватила его душу. Люди, которым приходилось умирать несколько раз, знают это уничтожающее чувство. Тень любимой женщины прошла по всем сажинским комнатам и своим грустным появлением осветила царившую здесь пустоту. Ведь этот дом принадлежал ей, она незримо царила в нем даже тогда, когда сам Сажин забыл паливщее его чувство. Теперь он с мучительной болью перебирал свои воспоминания и еще раз переживал старое горе. Как она хорошо улыбалась, когда что-нибудь слушала, как ласково шептала свои первые признания, а потом эта роковая сцена в саду — и все кончено... Точно порвалась струна, когда мелодия только что начиналась. Сквозь призму прошедших годов Сажин старался беспристрастно взглянуть на самого себя и свои отношения и приходил к невольному заключению, что он был виноват вдвойне, нет — без счету виноват! Неужели это был он, спустившийся до интимных отношений с женщиной, которую не любил, и в то же время осмеливался протягивать свою нечистую руку к другой женщине, отдавшейся ему со всей чистотой своей нетронутой души?.. Все, последовавшее затем, как оно ни вышло дико, служило только продолжением заслуженной кары...

И вот в результате, вместо настоящей полной жизни, — жалкий призрак и прозябание. Сначала Сажин в своей земской неудаче обвинял других, но, всмотревшись глубже, он

начал приходить к убеждению, что тут кроется что-то другое. Первое острое чувство несправедливой обиды само в себе несло известное нравственное удовлетворение, но оно заменялось другим, неясным и расплывающимся, от которого опускались руки. Разве Сажин не мог найти себе других занятий, как Окунев или Корольков: в нем не было даже недостатка энергии и желания работать, но под этим лежало смутное сознание бесполезности такой работы. Личная неудача встретилась с общественной под острым углом, и некуда было идти дальше... Это были две стороны одной и той же медали.

— Действительно, именинник! — шептал Сажин, хватаясь за голову.

Он теперь часто подходил к тому окну, из которого видел был злобинский сад. Через сетку голых деревьев, по вечерам, он наблюдал одинокую светлую точку, глядевшую на него из глубины сада, как кошачий глаз, — это горел огонь в каморке Марфы Петровны, а комната Анны Ивановны стояла пустая. Раз вечером, подойдя к окну и машинально взглянув по знакомому направлению, Сажин вздрогнул, точно от электрического тока: огонь показался и в других окнах... Чтó это значило?.. Ему сделалось опять больно, больно за чужое счастье, которое делало еще темнее окружавшую его пустоту. Да, теперь все кончено... Но какая-то сила непреодолимо тянула его опять к окну, и он по целым часам смотрел на освещенный злобинский дом, похоронивший в своих стенах его счастье.

XIX

Прошло пять лет. Наступил конец семидесятых годов. В Мохове за это время успело много воды утечь, и даже сама грёзовская генеральша утратила свой прежний привлекательный вид — обрюзгла, растолстела и сделалась точно еще ниже ростом. В ее салоне из старых друзей оставался один доктор Вертепов, который, скажем кстати, находился в большом загоне. Софья Сергеевна держала его в черном теле, вместе с Хановым, лежавшим без движения второй год. Старика разбил паралич. Скучно было в квартире генеральши, и она любила теперь говорить:

— В жизни, по-моему, есть только одна вещь, для которой стоит жить, если вообще стоит жить... Это — искусство! Все остальное... Позвольте, давно ли у нас в Мохове существовала целая плеяда умных людей: Курносов, Ефимов, Петров, наконец, «молодой Мохов», — и куда все это девалось? Точно сквозь землю провалилось, а еще сколько было людей, подававших надежды: три брата Поповых, Огрызко... И что́ же, Курносов женился на Клейнгауз и живет настоящим буржуа, Петров поступил в акцизное ведомство, Ефимов где-то тюремным смотрителем... Вообще, черт знает что такое!..

— Да, если разобрать, то... гм!.. собственно говоря... — бормотал Вертепов, чтобы сказать что-нибудь.

— Уж вы-то молчали бы лучше! — обрывала его Софья Сергеевна и даже топала ногами. — Туда же...

Доктор Вертепов скромно умолкал и начинал посвистывать. Это было для него единственной уловкой спасения — свистом он успокаивал Софью Сергеевну, как египетские фокусники — очковых змей. Жилось ему порядочно скверно, но он не имел сил сбросить с себя ярмо и покорно тащил житейский воз. Он даже не роптал на свою судьбу, но вот это проклятое искусство... У Софьи Сергеевны сделалось какой-то страстью приглашать разных заезжих артистов, особенно музыкантов; потом навязался какой-то кудрявый флейтист из местного оркестра, с которым Софья Сергеевна сочиняла дуэты. На обязанности Вертепова было знакомиться с господами артистами, а потом приглашать их в салон. Если они артачились или оказывались моветонами, на голову Вертепова сыпался град упреков, и у Софьи Сергеевны начинались «нервы». Чтобы гарантировать себя от этих неприятностей и разрушить влияние флейты, он придумал занятия магнетизмом: столоверчение, пассы, отгадывание мыслей «через влияние» и т. д. Эта выдумка ему удалась, и по вечерам в салоне водворялась весевозможная чертовщина, а Вертепов играл роль оракула и не без пользы пустил в ход свои медицинские знания — он управлял сеансами, выбирал самых нежных субъектов и вообще проделывал все фокусы, какие успевал вычитать где-нибудь в газетах.

Ханов не мог принимать участия даже в этих невинных развлечениях и лежал в своей комнате, забытый всеми. Лицо у него пере-

косило, рот был на боку, а правый глаз точно хотел выскочить из своей орбиты. Вообще вся правая сторона была поражена окончательно. По целым часам больной старик взывал на все лады: «Дарьица!.. Дарьица! ангельчик!» Дарьица сто раз проходила мимо и не желала замечать валявшегося без призора старика. Чтобы вызвать ее, он пускался на хитрость и начинал стонать. Дарьица появлялась в дверях, и стоны увеличивались. Когда она подходила, чтобы поправить подушку или перевернуть больного на другой бок, он кидался на нее и старался схватить зубами. Однажды таким образом он вырвал целый бок крахмальной юбки у Дарьицы, франтившей по-прежнему. От скуки Ханов начинал ругаться самым непозволительным образом, и тогда являлся доктор Вертепов, чтобы завязать сумасшедшему рот платком.

Вообще много воды утекло. Не было и старого опереточного губернатора, которого заменил новый, почти молодой человек, подававший большие административные надежды. Он мало знался с публикой и не заигрывал в популярность, ограничиваясь одним внушительным видом: знаем, что́ знаем. Были новые советники в палатах, тоже солидные молодые люди; а остались такими же, минуя дух времени, одни чиновники особых поручений: немного хлыщи и дамские угодники, не падающие духом. Докторская «партия» отпраздновала свои именины еще скорее Сажина, повторив в общих чертах его историю. Кабатчики и волостные писаря пересилили, и докторская партия вылетела из земства «с бен-

гальским огнем», как говорил Пружинкин. Волостные писаря окончательно воцарились в земстве, и даже председателем земской управы сделался самый вороватый писарь, восседавший во главе трех членов управы, тоже из писарей. Единственным утешением для моховского земства могло служить то, что писаря воссияли во всех земствах, представляя собою страшную, все нараставшую силу. Дело получало новый серьезный оборот, и даже Сажин начал сомневаться в обновляющей силе той или другой формы. Какая бы форма ни была, а люди, мол, остаются те же... Конечно, это был очень печальный вывод, но он получался в органической связи с его настоящим душевным состоянием.

Острая боль первого впечатления давно миновала, а вместе с ней растаяло и желание отомстить своим врагам, о чем Сажин любил думать в своем одиночестве. Несколько лет сиденья не у дел — хорошая школа для внутренней работы. Сначала Сажин радовался злоключениям докторской партии, из слова в слово повторявшей его ошибки и быстро потерявшей почву под ногами, но и это прошло. Явились новые соображения, и — прежде всего — нужно было стать выше обстоятельств.

— Призовут, Павел Васильич, — продолжал уверять один только Пружинкин, все еще не терявший надежды. — Помилуйте, куда же они без вас-то?.. Вот уж доктора слетели, а писаря сами себя за нос уведут из земства. Большому черту большая и яма...

У Сажина не было духа разуверять веро-

вавшего старика: «блажен, кто верует...» Он шагал по своим комнатам, запустил все дела до невозможности, и не далеко уже было время, когда ему серьезно придется думать о своих личных делах. Наступление этого момента даже радовало Сажина: может быть, этот внешний толчок выведет его из апатии... Ни в чиновники, ни на общественную службу он больше не пойдет, а постепенно подыщет какие-нибудь частные занятия. Личная предприимчивость — это все, и тогда не будет роковой зависимости от толпы. Публика так же скоро позабыла Сажина, как и возвела его в герои: к черту эту публику!..

Пружинкин по-своему объяснял настроение Сажина и даже удивлялся его ловкости: и виду не подает, а сам мотает да мотает себе на ус. Когда призовут, тогда Павел Васильич уж всего зараз себя и покажут... Очень политично, а писаря пусть пока повеселятся. Через Пружинкина Сажин знал кое-что и про жизнь в злобинском доме.

— Помирилась старуха-то, — докладывал таинственно старик через полгода после свадьбы. — Сильно сначала фыркала Марфа Петровна и слышать ничего не хотела, а потом утихомирилась... Ловок и этот самый барин Куткевич. Он потихоньку да полегоньку и взял старуху прямо за рога. Ни шуму, ни крику, а одним словом убил Марфу Петровну: «милая маменька»... Сегодня милая маменька, завтра милая маменька — ей уж, Марфе-то Петровне, деваться и некуда, чтобы, значит, характер свой обнаружить. Чуть она рот растворит, чтобы обругать, а зятек ей

«милую маменьку» в зубы. После-то сама Марфа Петровна мне говорила: «Точно вот он из нашей веры, зятишко-то... Больно уж хитер». Нашла коса на камень.

— А что Анна Ивановна?..

— Анна Ивановна?.. Не разберешь ее, хотя, конечно, дело ихнее женское: жена пред мужем всегда виновата... Исстари поговорка недаром ведется. Тоже вот и ребеночек у ей... Со старухой-то у них по-прежнему, только Куткевич и мирит. Да про Анну Ивановну не вдруг скажешь, что у нее на уме: тихая вода стоит до время.

Летом в злобинском саду по целым дням гуляла наряженная в позументы кормилица, носившая ребенка в шелковом одеяле. Сажин часто наблюдал ее из своего окна в бинокль, и сердце занывало у него от старой боли. В душе поднималось неприятное чувство вот к этому ребенку, который мозолил ему глаза своим невинным присутствием. В сад часто выходила Марфа Петровна и по целым часам возилась с внучком, — ребенка звали Борисом. Сама Анна Ивановна почти не показывалась — она все прихварывала. На другой год кормилицу сменила нянька, которая водила за руку что-то такое маленькое и беспомощное, барахтавшееся в песке, как таракан. Когда выходил сам Куткевич, Сажин торопливо отходил от окна — он не мог даже издали видеть этого человека, хотя лично не мог сказать про него ничего дурного. Когда ребенку было уже два года, явился Пружинкин и объявил, что маленькому Боре «захватило горлышко», а через три дня его не ста-

ло. Сажин видел из своего окна огни погребальных свеч, и ему делалось грустно не за ребенка, а за мать. Было что-то несправедливо глупое в этой маленькой, ежедневно повторяющейся на глазах у всех истории: родился зачем-то маленький человек, пожил два года и также неизвестно зачем умер...

— Как лебедь, убивается Анна Ивановна,— докладывал Пружинкин, покачивая головой.— Точно даже застыла вся, потому — только всего и свету в окне было!.. Не любит она своего благоверного муженька.

— Почему вы так думаете?

— А так-с... Со стороны-то оно всегда заметнее. Может, и сама Анна Ивановна этого не знает, а оно уж видно: нет, и все тут!

Это открытие Сажин предчувствовал, зная Куткевича как самого обыкновенного карьериста, зная и то, как состоялся брак. Анна Ивановна кинулась к ловкому человеку под давлением своих личных неудач и домашних неприятностей, как нередко заключаются брачные пары. Эти интересы, связывавшие Сажина с злобинским домом, давали его личному существованию хоть какой-нибудь призрачный интерес, и он с невольным сожалением смотрел на своих новых друзей, у которых не было даже и этого: о. Евграф вдовствовал, Корольков и Окунев никогда не были женаты. В течение пятилетнего знакомства не было упомянуто ни одного женского имени этими анахоретами, а Окунев морщился, когда Василиса Ивановна поднималась наверх.

— Уж и компания...— ворчала старушка

у себя в гостиной, когда ее навещал Пружинкин. — Какие-то оглашенные!..

— Совсем особенные люди-с, Василиса Ивановна, — объяснял Пружинкин. — А от женщин может происходить большой вред... то есть не от всех женщин, Василиса Ивановна, а только оно бывает.

— Что же, по-твоему, монахами жить?.. Этак и род человеческий переведется начисто, некому будет и богу молиться... Наш-то Павел Васильевич на кого похож, а все отчего?.. Как бы послушался меня тогда, женился на Аннушке Злобиной — не то было бы. Жена-то не дала бы киснуть...

— Это вы верно-с, а только у всякого свой термин, Василиса Ивановна. Вот я, слава богу, и век свековал, а ничего, не плачусь. Это уж кому какое терпение...

— А кому от твоего терпения польза?..

— Тут опять свое рассуждение, Василиса Ивановна. Ежели я, например, негодящий человек, так и жена ничего не поделает, а там совсем другое... Тогда эта генеральша подвернулась, на ее душе грех, а то настоящий преферанс выходил у Павла-то Васильича к Анне Ивановне.

— Мудрили бы вы с Павлом Васильичем меньше, оно бы и лучше вышло.

XX

Прасковья Львовна часто бывала в злобинском доме и каждый раз ссорилась с Куткевичем или с Марфой Петровной. Последняя особенно умела обидеть докторшу какимнибудь ядовитым раскольничьим словечком,

вроде того, что, мол, нехорошо это, Прасковья Львовна, когда курица «вспоет по-петушиному». Куткевич защищал маменьку, а Прасковья Львовна начинала их ругать буржуа и ретроградами.

— Я удивляюсь, удивляюсь и удивляюсь!.. — кричала Прасковья Львовна, потрясая кулаками. — И если бы я только могла подозревать тогда, что из Куткевича выйдет такая свинья... вам, Куткевич, не видать бы Анны Ивановны как своих ушей. Для чего было огород городить?..

В обращении докторша всегда отличалась большой резкостью, а Куткевича она преследовала и никогда иначе не называла, как по фамилии.

— Вся беда женщин вообще и вас, уважаемая Прасковья Львовна, в частности, заключается в том, — отвечал неизменно спокойным тоном Куткевич, умевший выдержать характер, — что вы в мужчинах все желаете видеть не простых, обыкновенных людей, а каких-то героев. Да... А геройство, согласитесь, не обязательно даже по уголовному кодексу.

— А зачем умные слова говорили? — наступала Прасковья Львовна. — У, постылый человек...

— Такое было умное время, когда все говорили умными словами.

— А зачем притворялись, что сочувствуете равноправности женщин? Э, да что с вами говорить: все вы, мужчинишки, не стоите медного гроша... Не сто́ите, не сто́ите!..

— Это доказывает только дурной вкус наших женщин, которые делают такой неудач-

ный выбор, тем более, что от них же зависит вполне произведение Шекспиров, Ньютонов, Боклей...

— Так и произойдет впоследствии, когда будет из чего выбирать, а теперь на безрыбье и рак рыба.

— Скверно то, что вам придется немного подождать этих героев, Прасковья Львовна.

— И подождем.

Анна Ивановна обыкновенно уходила от подобных сцен и потом чувствовала себя скверно. Прасковья Львовна отыскивала ее и торжественно заявляла:

— А я все-таки отчистила Куткевича... да. Я ему высказала все... да. Пусть поломает свою пустую голову — это полезная гимнастика для него.

— К чему все эти нелепые сцены? — удивлялась Анна Ивановна, пожимая плечами. — Мертвых не лечат...

— Ах, матушка, сама я все это знаю, а только накипит и не вытерпишь... Притом я не могу видеть этого Куткевича: мерзавец!.. Бывают большие подлецы, но у тех все-таки есть известная сила, ум, наконец, — энергия, а вот это мелкое, ничтожное, гаденькое... Я понимаю, что женщина может простить решительно все любимому человеку, кроме ничтожества. Где у меня тогда были глаза, когда я устраивала ваш несчастный брак?

— Послушайте, вы не имеете права так выражаться, потому что все-таки Куткевич — мой муж...

— А мне это все равно! Да и что такое муж?.. Совершенная случайность. Ведь это

ужасно: каждый день, каждый час чувствовать за собой это ничтожество, которое будет вас преследовать, как собственная тень. Тут даже природа не виновата, а сами люди...

Прасковья Львовна любила говорить на тему о «подлеце», причем иносказательный тон нимало не скрывал, о ком шла речь. Нужно заметить, что это понятие о подлеце у Прасковьи Львовны сложилось длинным опытом, и она с логикою всех ошибающихся людей вносила в него все свои личные неудачи и разочарования. Конечно, подлец — кажется, ясно? Растолстел, обрюзг, каждый вечер шатается в клуб играть в карты, — и это тот самый Куткевич, который был одним из членов «молодого Мохова», а главное — муж раскольницы... Прасковья Львовна постоянно ошибалась в людях, и с годами каждая новая ошибка отдавалась в ее душе все больней, развивая мизантропию. У нее сказывалась вечная жажда горячих привязанностей, и, конечно, ей приходилось дорого платить за это удовольствие. Последней привязанностью являлась Анна Ивановна, и Прасковья Львовна непременно старалась завладеть ею, как делают все любящие люди. Она являлась в злобинский дом почти каждый день и располагалась здесь по-домашнему, внося с собой известную грубоватую энергию и освежающее чувство. Анна Ивановна любила ее по-своему, сдержанно и молча. Они вместе читали, спорили, волновались по поводу разных проклятых вопросов и снова читали. Практической, настоящей жизни не было, да она сама по себе слишком была тяжела, и приходилось

удовлетворяться тем миром, который смотрел на них с печатных страниц. Так много живет людей на Руси, живет и умирает, унося в могилу неудовлетворенную веру во что-то лучшее и справедливое, что не достанется и детям их детей.

Замужество Анны Ивановны мало изменило ее собственное положение, и даже, — в чем она боялась окончательно сознаться, — это положение изменилось не в лучшую сторону, начиная с того, что ее любимая и единственная комната была превращена Марфой Петровной в парадную спальню. Выходя замуж, Анна Ивановна думала получить известную свободу, а вместо того привела в отцовский дом жалкого тунеядца, который в две недели подчинился авторитету Марфы Петровны. Это было приличное ничтожество с тем особенным самолюбием, какое свойственно людям этого разбора — нужно же было хоть чем-нибудь заменить внутреннюю пустоту. Характер точно так же заменялся мелким упрямством, как у обезьяны. Анне Ивановне делалось даже как-то страшно, когда муж неожиданно входил в комнату в моменты такого раздумья, и она рассматривала его удивленными глазами, как постороннего. Неужели этот человек мог быть членом «молодого Мохова»? Последнее составляло неразрешимую загадку, и Анна Ивановна начинала думать, что она относится к мужу пристрастно. Ей было неприятно смотреть, как он ест, как обращается с прислугой, как старается попасть в тон Марфе Петровне.

— Ежели бы мне делать зятя на заказ,

так и не придумать бы лучше, — в глаза Куткевичу говорила хитрая старуха.

— Милая маменька, вы преувеличиваете мои достоинства, как вашего зятя...

— Ну, уж это я знаю сама про себя, милый зятюшка!.. Тоже насмотрелась на своем веку на добрых людей, как нашу сестру, бабу, зятья-то увечат. Вон у Афониных непременно своей веры захотели зятя, а он приедет домой пьяный и кричит: «Не хочу в ворота, разбирай забор!..» Смертный бой у них в дому стоит... На своего покойника я не могу пожаловаться, а тоже, бывало, всю душеньку вымотает.

Старый героический режим в злобинском доме сменился неустоявшейся новой формой. К раскольничьей обстановке прилепилась кой-какая новая мебель, старинные цветы уступили место экзотическим растениям, явился кабинет Куткевича — и только. Не стало даже той прежней цельности, какая придавала злобинскому дому характерный вид истого раскольничьего гнезда. Этого диссонанса не желал замечать один Куткевич, быстро успокоившийся на лаврах дешево доставшегося благополучия. Он вообще был доволен и чувствовал себя отлично. Свою контрольную службу он бросил, потому что не желал быть чиновником. Это сделано было даже из принципа, хотя Марфа Петровна и не могла согласиться с зятем, который променял мундир и чины «на собачью земскую службу». Но и в земстве Куткевич удержался недолго, не желая мириться с воссиявшими писарями и кабатчиками. Сейчас он просто отдыхал, вы-

жидая случая баллотироваться в мировые судьи. Новый суд пришел уже в Мохов и «требовал рук».

Проедаться на женин счет и ничего не делать — мало-помалу входило в modus vivendi. В Мохове было несколько таких тунеядцев, которые держали себя в обществе с большим гонором и отлично усвоили один и тот же озабоченно-торжественный, деловой вид. В клуб или театр они являлись с высоко поднятой головой и презрение порядочных людей старались замаскировать нахальством или пренебрежением. Собственно говоря, ничего нового и поражающего в этом не было, богатые невесты делили общую участь, и сколоченные всякими неправдами родительские капиталы шли на оперение «павлинов», как называли остряки этих мужей своих жен. Чтобы вознаградить себя чем-нибудь, павлины показывались во всем своем блеске дома, где их не видел сторонний глаз. В результате получались маленькие тираны и трутни, вечно охорашивавшиеся и капризничавшие. Особенно доставалось от них прислуге, выносившей на своих плечах непризнанное величие. Нужно сказать, что из павлинов Куткевич был лучшим, хотя и ломался над одной горничной Агашей.

Первый ребенок внес на короткое время новую струю в жизнь злобинского дома. Его лепет примирил, по-видимому, нараставшее глухое недовольство между супругами, но и это счастье лопнуло как мыльный пузырь, оставив после себя мучительную пустоту. Анна Ивановна не плакала, не убивалась, а

только вдруг притихла и еще сильнее затаилась — горе ушло внутрь и залегло тяжелым камнем навсегда. Зато Куткевич плакал и, вообще, прекрасно вошел в роль неутешного отца.

— Это, наконец, гнусно! — возмущалась Прасковья Львовна, особенно возненавидевшая Куткевича с этого момента. — Что́ такое отец ребенка? Случайность и в большинстве случаев печальная случайность — не больше. Я понимаю материнское горе, потому что для матери ребенок — все. Да... Но бывают случаи, когда...

Прасковья Львовна не решилась выговорить вертевшееся на языке слово и только посмотрела на Анну Ивановну, которая ходила по комнате с заложенными за спину руками. Горе сделало ее еще лучше, смягчив слишком серьезное выражение лица, как первый холод придает чарующую прелесть осеннему ландшафту. Глаза смотрели мягче, девичья свежесть заменилась задумчивой, ласковой женской красотой.

— Вы что-то хотели сказать, Прасковья Львовна? — проговорила Анна Ивановна, останавливаясь. — Пожалуйста, не стесняйтесь...

— Нет, я так...

— Вы хотели меня утешить?

— Конечно... Я глубоко убеждена в том, что хотела сейчас высказать, голубчик. Мне жаль вашего Бори, но... но, может быть, он сделал даже хорошо, что догадался вовремя уйти со сцены за кулисы.

— Что вы хотите сказать... я не пони-

маю...—сдавленным голосом спросила Анна Ивановна и побледнела.—Чем ребенок виноват?

— Может быть, это и жестокая мысль, голубчик, но она жестоко верна. Любили ли вы мужа, когда родился Боря?..

— Нет... то есть я совсем не знаю, что такое любить. Это слишком банальное и опошленное слово, но мне кажется, что я все-таки уважаю мужа... Иначе это было бы нечестно. То есть я хочу сказать, что наши идеалы вообще — недостижимая мечта, и приходится мириться с некоторыми недостатками...

— Нет, не то, голубчик! Когда человек забывает себя, тогда он отдает всю душу другому — вот это истинное чувство, а все остальное только сделка с совестью.

— Да ведь так нельзя же любить целую жизнь?.. Всякое чувство имеет свой естественный предел.

— Вот эти пределы на наших детях и сказываются... Ведь это ужасно видеть в собственном ребенке, как в нем сказываются черты постылого человека, его характер, недостатки. Помните, как Боря по-отцовски закидывал свою головку?.. У него были отцовские тонкие губы и что-то такое мышиное, прячущееся в глазах... Голубчик, простите меня за мою грубость!..

— Вы несправедливы...

— Да, потому что слишком жестоко утешаю вас... Да. И вот ваш Боря подрастает, и с каждым годом в нем все сильнее стала бы сказываться чужая кровь... Можно ли

придумать что-нибудь ужаснее?.. А это — наказание за наши грехи, и самое страшное наказание, которое будет стоять пред глазами матери вечным упреком... Тут не может быть пощады, и женщина-мать расплачивается за каждую свою фальшивую улыбку, за каждую вынужденную ласку. Эти несчастные дети, как поздние цыплята, кончают очень скверно: худосочием, наследственными болезнями, и вообще расплачиваются за грех своих родителей. Умереть вовремя — это даже счастье...

— Нет, вы все-таки ошибаетесь!..

— Ах, как я желала бы ошибиться не только в этом случае, но и во многих других.

— И это, может быть, счастье особого рода?.. — с горькой улыбкой спрашивала Анна Ивановна, чувствовавшая, что как-то начинает бояться вот этой самой Прасковьи Львовны.

— Если хотите, то и счастье...

А Куткевич с важностью лежал в это время в своем кабинете и кейфовал с сигарой в зубах. Он не беспокоился за жену, приписывая ее странности неулегшемуся еще чувству, взбудораженному недавними бреднями об эмансипации, женском труде и тому подобных глупостях. Время сгладит все, и Куткевич только улыбался, прочитывая в газетах известия о новых веяниях ренегатства, поголовного воровства и вообще тяготения вернуться назад, к дореформенным порядкам доброго старого времени.

XXI

Анна Ивановна почти не выезжала и время от времени бывала только в театре, чтобы посмотреть новую пьесу. Жизнь ее сосредоточивалась в своих четырех стенах, и самым большим развлечением было то, когда завертывала Володина. Эта девушка оставалась все такой же серой и все так же занималась в теребиловской школе. Она приходила вечером, усталая и грустно-серьезная, и Анне Ивановне доставляло удовольствие ухаживать за этой убивавшейся на работе труженицей. Да, все кругом давно изменилось; недавние герои Мохова, поддавшиеся веянию шестидесятых годов, как-то исчезли, а Володина оставалась все тою же, какою была десять лет назад. Теребиловская школа давно пережила период своей популярности и была забыта. Земское пособие больше не выдавалось, и школа существовала изо дня в день на частные средства, добываемые подпиской, концертами и любительскими спектаклями. Анна Ивановна отдавала сюда все, что могла тратить на наряды и удовольствия, а генеральша и Прасковья Львовна одолевали моховскую публику подписками и спектаклями.

Сближение Анны Ивановны с Володиной произошло незаметно, благодаря именно теребиловской школе, причем связующим живым звеном являлся Пружинкин. Женщины сошлись и так приятно проводили вечера за чтением и хорошими разговорами. В Володиной жила несокрушимая вера в свое дело, и она относилась ко всем неблагоприятным об-

стоятельствам с тем спокойствием, с каким относятся доктора к эпидемиям или обыкновенные люди к погоде: нужно выждать время. Именно эта вера всегда успокаивающим образом действовала на Анну Ивановну, и она чувствовала себя хорошо в присутствии Володиной, которая сделалась для нее необходимою. Она посылала за ней свою лошадь и выбегала встречать в переднюю. Эта привязанность возбуждала в Прасковье Львовне ревнивое чувство, обнаруживавшееся разными придирками.

— Зачем вы бываете у генеральши, Володина? — часто приставала Прасковья Львовна.

— А что такое?

— И вы спрашиваете?.. Было время, когда я сама увлекалась этой женщиной, то теперь... Один Вертепов чего стоит! Помилуйте, вертят столы, распевают душетеребительные романсы, и вообще свинство... да.

— Я этого не нахожу,— невозмутимо отвечала Володина.— Софья Сергеевна осталась той же Софьей Сергеевной, какою мы все знали ее тогда, а в ее личные дела я не вмешиваюсь.

— Вы вообще миритесь со всем и всеми. Например, Курносов: растолстел, добился инспекторства и теперь донимает ребятишек разной канцелярщиной. Представьте себе, он является в орденах!.. А Ефимов и Петров?!

— Это все частные случаи, Прасковья Львовна! Будут другие люди и сделают свое дело. Вся наша ошибка в том, что мы навязываем другим то, чего в них нет, а потом

плачемся. Лично для меня достаточно, если раз я убедилась, что это — хорошо, а то — нет, и, следовательно, должна сообразно с этим затрачивать свои силы.

Несмотря на эти маленькие разногласия, в общем все трое составляли коллективное целое, представляя маленький островок, устоявший от общего крушения. Специально-женская консервативная сила делала здесь свое хорошее дело, сохраняя устойчивое равновесие. Как бы в доказательство своих убеждений, Володина время от времени приводила в злобинский дом то курсистку-бестужевку, то остановившуюся проездом в Мохове женщину-врача, то какого-нибудь необыкновенного учителя или интеллигентного рабочего. Ведь это было то же самое, но в другой форме, и в свою очередь должно уступить со временем чему-нибудь новому, более пригодному и целесообразному. Важно то, что истинное и плодотворное общественное движение никогда не умирает, а только меняет форму.

Однажды в марте месяце, когда на улице мела весенняя вьюга, в злобинский дом толкнулся Пружинкин. Дело было вечером, и старик, по обыкновению, предварительно завернул к Марфе Петровне, поговорил о разных пустяках, а потом послал Агашу узнать, можно ли будет видеть «барышню». У Анны Ивановны сидели Володина и Прасковья Львовна; поэтому она просила провести Пружинкина прямо в гостиную. Старик вошел с озабоченным лицом и, поздоровавшись с дамами, вполголоса проговорил:

— А мне, Анна Ивановна, словечко-с одно нужно бы вам сказать.

— Говорите... у меня секретов нет.

— Так-с...

Пружинкин осторожно оглянулся и прежним полголосом проговорил:

— Павел Васильич умирают...

В первый момент Анна Ивановна не поняла даже рокового смысла этой роковой фразы и как-то по-детски спросила:

— То есть как это умирает?

— А так-с, обнакновенным образом: воспаление легкого и прочее такое. Ужас, как разгасило... Можно сказать, без памяти лежат третьи сутки!

— Кто же его лечит? — вмешалась Прасковья Львовна с особенной энергией, как заслышавший трубу боевой конь.

— Как же, лечим-с... я и Чалко.

— Какой Чалко?

— Ну, фельдшер наш.

— А доктора почему не приглашаете?

— Да уж так... От смерти не вылечишь, да и сам Павел Васильич не пожелали-с.

— Вздор!

— Уж это как вам будет угодно-с, а Чалко отлично все знает.

Вытерши лицо платком, Пружинкин посмотрел на Анну Ивановну каким-то беспомощным взглядом, а потом, точно в свое оправдание, прибавил:

— И Окунев и Корольков то же самое говорят-с.

— Глупости! — ругалась Прасковья Львовна. — У вас там и о. Евграф тоже в доктора

попадет... Разве так можно? Ну, где у вас ум, Егор Андреевич? Притом, можно ли слушать бред больного! Да я сама сейчас же отправлюсь к Сажину и все устрою.

Прасковья Львовна взялась уже было за шляпку, но Анна Ивановна ее остановила.

— Нужно подумать, а потом уже предпринимать что-нибудь. Лучше всего обратиться к Глюкозову, а потом...

Анна Ивановна не договорила, что потом, и только опустила глаза. Пружинкин отвернулся, чтобы вытереть непрошеную слезу. Володина наблюдала происходившую сцену со своим обычным спокойствием и только внимательно посмотрела на свои худые руки.

Все эти годы о Сажине в злобинском доме не было сказано двух слов, точно он не существовал, а теперь одно это имя произвело сильное волнение. Пружинкин едва «опнулся» и сейчас же отправился на свой пост. Его не удерживали. Анна Ивановна проводила старика до передней и вернулась с побледневшим лицом.

— Из понятной деликатности, я никогда не говорила о нем при вас, голубчик, — встретила ее Прасковья Львовна. — Но теперь уже дело прошлое, а, право, будет жаль, если наш именинник так глупо умрет.

— Это гениальный человек! — заявила Володина.

— Конечно, у него были свои слабости и недостатки, но, если сравнить Сажина с другими... — вслух думала Прасковья Львовна, надевая шляпку задом наперед. — Обратите

внимание, как он живет: ведь нужно выдержку, чтобы похоронить себя заживо в четырех стенах. Да, да! В нем было всегда что-то такое особенное. Помните, как он тогда вышел из земства? Он один знал, что будет дальше. Ему негде было развернуться и показать себя в настоящую величину. Понимаете: негде! Бродить по колено в обыкновенных глупостях — это надоест кому угодно, и он выбрал лучшее. Я отлично знаю и Окунева и Королькова: это все трагические русские люди, как и наш именинник. Им некуда деваться, негде приложить свои силы... Нужно быть жалкой посредственностью, чтобы мириться со всякой гадостью. Наконец, в нем сказалось слишком серьезное и глубокое чувство — я в этом убеждена.

— Неужели он умрет? — спрашивала Володина.

— Прасковья Львовна, нельзя ли будет пригласить к больному вашего мужа? — спрашивала Анна Ивановна, не слыхавшая этих рассуждений.

— Это я сейчас устрою. Они тогда были врагами, но это пустяки. Я прикажу мужу сейчас же ехать. Смерть всех примиряет.

Последнее слово заставило Анну Ивановну вздрогнуть: неужели смерть? И так неожиданно! Что такое смерть? Ах, да, как умирал Боря... цветы... похоронное пение... волны ладана... погребальные свечи... Да, нужно доктора, а потом кто будет заботиться о больном? Ведь уход прежде всего, а в сажинском доме всего одна женщина. По воспоминаниям детства, Анна Ивановна относи-

лась к сажинской экономке с брезгливым недоверием, бессознательно усвоив взгляд матери.

— Нужно его спасти! — провозгласила Прасковья Львовна, делая энергичный жест. — Мы были так несправедливы... да! Я первая сознаюсь в этом... Помните, Володина, как Сажин через Пружинкина посылал деньги в школу, а мы возвратили их ему?

Анна Ивановна была рада, когда ее друзья наконец ушли. Ей необходимо было остаться одной, чтобы сообразить что-то, одуматься. Она запомнила, как Пружинкин глотал слезы и что-то хотел ей сказать в передней, но только махнул рукой и выбежал в двери. Какой хороший старик этот Пружинкин и как беззаветно он любит Павла Васильевича... Какое-то неиспытанное чувство овладело душой, и Анна Ивановна никак не могла успокоиться. Она выпила два стакана холодной воды, хотела дочитать начатую книгу, но строчки прыгали и печатные страницы застилались туманом. «Павел Васильевич умирают-с!» — неотступно стучала в голове Анны Ивановны одна и та же фраза, заставляя ее вздрагивать. Он умирает беспомощный, одинокий, оставленный всеми и забытый.

За вечерним чаем Марфа Петровна несколько раз взглядывала на дочь своим быстрым, проницательным взглядом и беззвучно жевала сухими губами. Анна Ивановна два раза роняла чайную ложку, опрокинула на стол свою чашку и вообще имела самый беспокойный вид. Она была рада, что муж рассказывал все время Марфе Петровне о ка-

ком-то скандале в клубе, а сама думала: где теперь доктор Глюкозов? Может быть, он уехал по больным, и Сажин по-прежнему остается на попечении одного Чалки.

— Ты, кажется, сегодня не совсем здорова? — осведомился Куткевич, когда Анна Ивановна два раза ответила ему невпопад.

— Да... У меня голова болит.

Когда Анна Ивановна торопливо вышла из столовой, Марфа Петровна проводила ее прищуренными глазами и строго покачала головой, но Куткевич ничего не желал замечать и благодушествовал, развалившись в кресле.

Муж всегда говорил Анне Ивановне «ты», но сейчас это маленькое слово обидно резнуло ее по уху. «Ты, кажется, сегодня не совсем здорова?» А кому какое дело до ее здоровья, до всего, что касалось ее? Она ждала только момента, когда останется одна, совсем одна; ведь это великое счастье — быть одной. В восемь часов Куткевич уезжал в клуб, и Анна Ивановна с каким-то страхом думала о том, как он непременно отыщет ее, чтобы поцеловать в лоб, как всегда делал при выходе из дому. Из бывшей своей комнаты она посмотрела через голый сад на сажинский дом: в кабинете Сажина светился слабый огонек... Как давно не смотрела она в эту сторону, и как больно отозвались в душе эти две светлые точки, глядевшие на нее. Спускались серые сумерки, и мокрыми хлопьями падал последний снег. Верхушки берез были затканы вороньими гнездами. Где-то далеко прозвонил запоздалый колокол, оставивший в воздухе долгий, умирающий звук. Послышавшиеся ос-

торожные шаги заставили Анну Ивановну вздрогнуть — это шел муж прощаться.

— Я вернусь, Annette, около часа! — говорил он, шаркая ногами.

Последовал обычный супружеский поцелуй, как печать на казенной бумаге, и Анна Ивановна вздохнула свободно... Что же дальше?.. Да, где теперь доктор Глюкозов, и отчего Прасковья Львовна не едет сообщить, как все устроилось? В душе Анны Ивановны защемило такое нежное и хорошее чувство к больному, но потом она вдруг вся похолодела от нахлынувших воспоминаний... Вот он из этого сада так постыдно бежал тогда от генеральши... Он погубил ее жизнь, как и свою... Припав мокрым от слез лицом к самому стеклу, Анна Ивановна опять смотрела в потемневший сад, на двигавшуюся сетку падавшего снега, на потонувшие вдали две светлые точки. Ведь так же темно и в жизни, и так же из неведомой глубины манят к себе блуждающие огоньки...

XXII

На старинных часах с кукушкой пробило девять часов. Прасковьи Львовны все не было.

— Ты куда это собралась, на ночь глядя? — окликнула Марфа Петровна, настигнув Анну Ивановну в передней, когда она надевала пальто.

— Мне нужно... к Прасковье Львовне, — спокойно ответила Анна Ивановна. — Лошадь вернулась из клуба?

Ей было душно в комнатах. Холодный воз-

дух сразу оживил ее, и она с удовольствием дохнула всей грудью. Мокрый снег покрывал все кругом белым саваном. Когда кучер подал, Анна Ивановна проговорила:

— К Прасковье Львовне!

Выехав из ворот, Анна Ивановна задумалась — ей вдруг не захотелось ехать к Глюкозовым. Кучеру было приказано ехать на Консисторскую и остановиться на углу Гаврушковского переулка. Снег все шел колебавшимися в воздухе крупными хлопьями. Пешеходов не было видно, и глухо дребезжали одни извозчичьи разбитые экипажи. Анной Ивановной вдруг овладело такое хорошее и радостное чувство, какого она еще никогда не испытывала.

— Ты подождешь меня здесь... — твердо проговорила она кучеру, выходя из экипажа.

— Слушаю-с... — ответил старик кучер, живший у Злобиных лет двадцать.

Анна Ивановна торопливо пошла по мокрому тротуару, прямо к сажинскому дому, до которого от угла было шагов двести. Прежнее бодрое чувство усилилось от ходьбы и какого-то детского чувства полной свободы. Фонари едва мигали, и в темноте ее никто не узнает. У подъезда она позвонила твердой рукой и вышедшему на звонок Семенычу проговорила коротко:

— Проведи меня к Василисе Ивановне.

— Они чай кушают-с! — докладывал Семеныч, почтительно забегая по коридору вперед бочком. — Вот сюда направо!

В распахнутую Семенычем дверь на Анну Ивановну пахнуло знакомым воздухом, ка-

кой застаивается в таких маленьких комнатках. На шум показалась сама Василиса Ивановна, повязанная темненьким платочком. Увидев Анну Ивановну в шубе, покрытую хлопьями снега, старушка сделала шаг назад и всплеснула молча руками. Семеныч помог гостье снять шубу и, сделав налево кругом, удалился.

— Анна Ивановна Злобина...— отрекомендовалась гостья, входя в гостиную.

Василиса Ивановна узнала ее по какому-то инстинкту и, махнув рукой, тихо заплакала. Она поняла, зачем пришла эта поздняя гостья... В гостиной на столе стоял остывший самовар, в углу теплилась лампадка. На особом столике кучкой стояли какие-то пузырьки с лекарствами. Анне Ивановне хотелось что-нибудь сказать плакавшей старушке, но она чувствовала, что голова у нее кружится и что-то давит горло.

— Анна Ивановна... голубушка...— шептала Василиса Ивановна, не вытирая катившихся слез.— Вот как господь привел свидеться!

— Доктор был?

— Заезжал, а там теперь фершел. Плох Павел-то Васильич, всего разварило. Ах, господи, да как это вы-то, моя голубушка... Доктор слушал и стукал, а лекарства не дал... А как Павел-то Васильич тосковал в последнее время!

Василиса Ивановна задушевно и горько выговаривала все, что у нее накипело на душе, и вытирала передником катившиеся по сморщенному лицу слезы. Старое представ-

ление о «сажинской наложнице» исчезло само собой, и Анна Ивановна, поддаваясь безотчетному чувству, поцеловала убивавшуюся старушку — ей хотелось утешить ее и приласкать.

— Матушка, Анна Ивановна! Не осудите старуху на глупом слове: думала я об вас не один год и ждала... только не судил бог помоему, как я загадывала. Теперь-то уж все можно сказать: не к чему таиться! Был грех... Хотелось мне послужить вам на старости лет, порадоваться... А вы-то вот как пришли к нам!

Сначала Анна Ивановна не поняла смысла этих бессвязных речей, а потом с грустной улыбкой проговорила:

— Зачем, Василиса Ивановна, вы говорите это?

— Сердце выболело, голубушка... Да и Павел Васильич не жилец на белом свете, — оно уж все заодно.

— Доктор сказал?

— Нет, доктор молчит, а у меня душа ноет... чувствую...

Присев на диван, Анна Ивановна подробно расспросила про болезнь Сажина и все время всматривалась в лицо Василисы Ивановны, в котором чувствовалось что-то такое знакомое и близкое. Да, эта старушка понимала ее — понимала, что привело ее сюда и что она сейчас чувствует. То, что, казалось, было похоронено навеки и скрыто от всех глаз, вырвалось наружу вот здесь, в этой маленькой комнатке.

— Можно будет мне взглянуть на боль-

ного? — тихо спросила Анна Ивановна после длинной паузы.

— Можно, можно, моя голубушка... Я провожу вас...

Они поднялись по узкой лесенке прямо в столовую, где горела лампа и было совсем пусто. Проходя по коридору, Анна Ивановна в отворенную дверь увидала Окунева и о. Евграфа, споривших вполголоса о чем-то. Бильярд служил им вместо классной доски, и Окунев, отложив мелом по зеленому сукну две параллельные линии, шепотом говорил:

— Понимаете: одиннадцатая теорема Эвклида — это исходный пункт новой математики... да. Центр вне окружности... тело, ограниченное выпуклыми поверхностями, обращенными внутрь...

— Как поврежденные... — прошептала Василиса Ивановна. — Все у них тары да бары.

Окунев заметил Анну Ивановну, прищурил глаза и даже фукнул носом — появление неизвестной женщины нарушило его математические соображения. В зале было совсем темно, и только в приотворенную дверь кабинета выползала широкая полоса зеленоватого света. Стеариновая свеча, защищенная зеленым шелковым абажуром, стояла на письменном столе. У внутренней стены на кровати белела неподвижная масса, а около нее в двух креслах, друг против друга, сидели Чалко и Пружинкин. Больной тяжело дышал, и слышно было, как что-то хрипело и клокотало у него в груди. Появление Анны Ивановны заставило Пружинкина вскочить,

точно в дверях стояло привидение. Чалко тоже сделал движение всем корпусом и неловко заерзал в кресле, а потом около стенки благополучно выбрался в залу и только там вздохнул свободнее, как человек, благополучно отделавшийся от большой опасности.

— Плох-с...— говорил Пружинкин движением головы и рук.

Анна Ивановна заняла место Чалки у изголовья больного, который лежал с закрытыми глазами. Лицо было багрово-красное, сквозь запекшиеся губы вылетала с сухим свистом горячая струя воздуха, грудь быстро поднималась. Ею вдруг овладело невыразимое чувство жалости к этому беспомощному человеку, сгоравшему лихорадочным огнем. Вот эта голова, из которой фонтаном била живая, искрившаяся огнем мысль; вот эти воспаленные, потухающие глаза, эти бессильные руки с напружинившимися жилами и грудь, задыхавшаяся от недостатка воздуха... Анна Ивановна инстинктивно набрала всей грудью воздуха, точно хотела помочь дыханию больного, поправила резиновый мешок со льдом, скатившийся на подушку, и, приложив к горевшему лбу, прислушивалась к этой молчаливой борьбе жизни и смерти. Да, все кончено, и нет больше места для обыденных расчетов и соображений.

— Плохо-с...— прошептал голос Пружинкина над самым ухом Анны Ивановны.

Василиса Ивановна стояла по-прежнему в дверях и наблюдала происходившую сцену. Она видела, как больной тяжело раскрыл глаза и быстрым испуганным взглядом по-

смотрел на наклонившееся над ним лицо — он узнал ее и что-то хотел сказать, но из груди вырвалось всего одно слово:

— Прощайте... прощайте...

— Мы будем еще жить... долго жить... — шептала Анна Ивановна, поправляя прилипшие ко лбу его волосы.

— Нет... кончено...

Больной хотел сказать еще что-то, сделал беспокойное движение головой и бессильно закрыл глаза, погрузившись в прежнее полузабытье. Пружинкин и Василиса Ивановна вышли из комнаты. Глаза больного опять раскрылись и с тревогой искали дорогого лица, но оно уже наклонилось и шептало о жизни, о прощении, о будущем. Жизнь, молодая и полная сил, была тут, рядом, и чья-то маленькая ласковая рука опять лежала на горевшей голове.

— Прощайте... благодарю...

— Нет, вы должны жить...

В столовой Анну Ивановну ожидали подробные рассказы о результатах докторского диагноза: поражено правое легкое, но есть надежда на благополучный исход. Знакомые неотлучно дежурят при больном и уж постараются поднять его на ноги. В дверях столовой на мгновение показались рыжие усы Окунева, и Анна Ивановна почувствовала на себе пристальный взгляд тайного врага. Но ей было не до того — нужно было уходить... Как во сне, она сошла по лестнице вниз, простилась с Василисой Ивановной и, когда стала надевать шубу, почувствовала, как Пружинкин целовал у нее руку.

— Ангел прилетел... наш ангел... — шептал старик.

Василиса Ивановна убежала в свою спальню и, упав на кровать, плакала с тяжелыми всхлипываниями. Да, она, эта желанная гостья, приходила — закрыть ему глаза... На улице шел тот же снег и так же печально мигали редкие фонари, когда Анна Ивановна торопливо шла по тротуару к своему экипажу. За ней шел Пружинкин и повторял:

— Как же это, Анна Ивановна, дома-то?.. Ах ты, господи, еще неприятность выйдет.

— Идите, Егор Андреевич, назад, а то еще простудитесь... — спокойно отвечала Анна Ивановна, чувствуя себя необыкновенно легко.

— Нет... дома-то Марфа Петровна...

— Ничего... пустяки.

Кучер сделал вид, что ничего особенного не заметил, и только нерешительно повернул голову, ожидая приказания ехать к Глюкозовым.

— Домой! — коротко ответила Анна Ивановна на этот немой вопрос.

У нее мелькнула малодушная мысль внушить кучеру, что они-де ездили к Прасковье Львовне, но этот обман оттолкнул ее. К чему?.. Глюкозова могла заехать к ним в это время, и обман раскрылся бы сам собой. Притом ей решительно все равно: да, она была в сажинском доме, что же из этого?.. Прежнее хорошее чувство овладело ею, и она удивлялась, как все это вышло само собой. Ведь она выехала из дому с намерением ехать к

Прасковье Львовне. Нет, она должна была видеть его, и он не умрет...

Глюкозова, действительно, заезжала к Злобиным, и Марфа Петровна встретила дочь в передней — она знала все через Агашу, которую посылала до сажинского дома.

— Где ты была, голубушка? — как-то зашипела старуха.

— У Сажина! — коротко ответила Анна Ивановна и даже улыбнулась.

— Вот как!

— Да... так... Можете донести об этом по принадлежности: мне все равно.

Спокойный тон испугал Марфу Петровну, и она даже отшатнулась от дочери, как от сумасшедшей. Анна Ивановна вызывающим взглядом смотрела на мать и опять улыбалась.

— Хорошо... хорошо... голубушка! — забормотала старуха, размахивая руками. — Ужо посмотрим, как будешь с мужем-то разговаривать. Ишь, какую прыть напустила!

— Это уж мое дело, а вы не решитесь ему ничего сказать... по привычке всех обманывать... Да и мне все равно: говорите... жалуйтесь... Прислуга знает и разболтает все без вас, так что вам не о чем заботиться.

— Да ты в своем ли уме? Какие ты слова говоришь матери?

Но Анна Ивановна не слыхала этих возгласов — она думала о том, что Василиса Ивановна отлично знает не только ее прошлое, но и настоящее. Да, это ясно из того участия, с каким она отнеслась к ней. Из своей комнаты Анна Ивановна опять долго

смотрела через сад в светившиеся окна сажинского дома и теперь отлично представляла себе всю обстановку. Ей делалось жутко и хорошо, когда она перебирала в уме подробности этого визита: как задушевно и тепло встретили ее все, точно хозяйку дома... Ведь она могла быть хозяйкой этих пустых комнат, в которых жизнь совсем замерла, и, может быть, там кипела бы теперь другая жизнь. Недаром плакала Василиса Ивановна...

XXIII

Первые теплые дни в Мохове устанавливались только в конце мая. В городском саду, опушенном первой весенней зеленью, по утрам можно было встретить каждый день Сажина, который гулял здесь в обществе Пружинкина или кого-нибудь из своих друзей последней формации. Он только что успел подняться с постели и ходил, опираясь на палку. Лицо вытянулось и побледнело, глаза казались больше.

— Ничего-с, все форменно будет, Павел Васильевич, — говорил Пружинкин, поддерживая Сажина за локоть. — Другая болезнь нам же на пользу, говорит Чалко. Кровь полируется.

Сажин задумчиво улыбался и не спорил. Он переживал то хорошее чувство, какое приносится выздоровлением, и с каждым днем испытывал новый прилив сил. Теперь он с удовольствием выслушивал болтовню Пружинкина, толковал с ним о его проектах и

теребиловских злобах дня, спорил с Окуневым о математической точке, которую невозможно «ни изобразить, ни представить в воображении». Но эти моменты оживления иногда сменялись тяжелым раздумьем, находившим на него без всякой видимой причины. Сажин не слыхал вопросов, забывал своих собеседников и только тер рукой сморщенный лоб, точно стараясь что-то припомнить. Да, он смутно, как во сне, видел молодое женское лицо, которое наклонялось над его изголовьем, и не решался спросить Пружинкина или Василису Ивановну: было это галлюцинацией или... От этого вопроса его удерживала мысль: а если ничего подобного не было, тогда он будет лишен возможности даже думать на эту тему, заставлявшую его переживать такие хорошие минуты.

Раз, когда Сажин и Окунев гуляли на большой липовой аллее, в глубине этой аллеи показалась женская фигура. Окунев тяжело замолчал и нахмурился, точно предчувствуя опасность, которая приближалась к ним такой грациозной и легкой походкой.

— Вот черт несет... — ворчал он, дергая себя за усы. — А впрочем, до свиданья, Павел Васильич.

— Куда это вы? — удивился Сажин.

— Нужно...

Круто повернувшись, Окунев сердито зашагал к выходу — он узнал Анну Ивановну и спасался самым постыдным бегством, как искушаемый бесом пустынник. А она уже подходила к Сажину и первая протянула ему руку.

— Как я рада, что вижу вас здоровым... — проговорила она, складывая зонтик.

— А я... нет, я в неоплатном долгу у вас, Анна Ивановна.

— Ничего, как-нибудь сосчитаемся... Нехорошо то, что мне же первой и пришлось вас отыскивать. Да, я вас искала... чтобы высказать много-много...

Изумление Сажина сменилось томительным и сладким чувством: он мог смотреть на нее, мог слушать звук этого голоса, а там хоть умереть... Ведь он не видал ее много лет и теперь находил, что она в десять раз лучше того, чем была. Из-под широкополой летней шляпки на него смотрело свежее и молодое лицо, полное какой-то тревоги и ожидания, — это лицо наклонялось над ним тогда, в чем он больше не сомневался. Она шла рядом с ним по той же аллее, где они гуляли когда-то под звуки музыки, и так же хорошо смотрела на него.

— Вы, может быть, устали? — спрашивала она притихшим голосом.

— Нет, благодарю вас...

— Да, так мне необходимо было видеть вас, чтобы сказать все... Скажите, почему вы похоронили себя на пять лет в четырех стенах? Неужели достаточно было одной неудачи, чтобы бросить все?.. Писаря и кабатчики гораздо выдержаннее и теперь завладели всем.

— Им, значит, и книги в руки...

— Вы говорите это так спокойно... Значит, все, что́ было раньше, все это говорилось и делалось как-то так, без всякого ос-

нования. Может быть, делалось из самого непростительного эгоизма.

Сажин горько улыбнулся и не отвечал, наблюдая золотые полоски света, бродившие в зелени молодой травы и по песку дорожки.

— А было время, когда на вас молились, когда ожидали от вас очень многого... — продолжала Анна Ивановна. — А теперь?..

— Мне трудно говорить на ходу... Сядемте, — тихо ответил Сажин.

Они сели на зеленой скамье. Анна Ивановна чертила на песке зонтиком параболы. Сажин несколько раз с трудом перевел дух и после длинной паузы начал:

— Вы правы, и я то же самое передумал много раз... Знаете, когда меня выкинули из земства, я, конечно, обвинил всех других и был глубоко убежден, что меня рано или поздно призовут. Да...

С перерывами и паузами Сажин передал содержание того внутреннего процесса, какой он пережил за все это время своего добровольного затворничества. Сначала он заперся из гордости, потом наступил период сомнения, и, наконец, сложилось новое миросозерцание, если можно применить здесь это громкое слово.

— В самом деле, вглядываясь в Пружинкина, я увидел в нем своего двойника, — говорил Сажин, начиная увлекаться. — Та же непрактичность, та же детская вера в несбыточное... В нем только больше цельности и крови. Дальше явились уже абсурды: на Руси нет даже подлецов в чистом виде, а все это так, как-то зря... В большинстве случаев, са-

ми по себе, это — очень милые и безвредные люди, если отнять от них полосу специального помешательства. Какой-нибудь консисторский повытчик, полицейский зубокрушитель, просто маленький семейный тиран — все они люди, как люди.

— Остается только перенести все это на наших хороших людей?

— К сожалению, да!.. Нет почвы под ногами и не за что ухватиться, когда в самом себе чувствуешь эту роковую раздвоенность. Посмотрите, сколько на Руси толпится совершенно не нужных людей, и притом это не какие-нибудь обсевки, а самые способные и талантливые... Это наше специально-русское явление.

— Трагические люди, как называет Прасковья Львовна...

— Именно... хотя, по-моему, вернее было бы назвать их именинниками. Это очень меткое слово, лично для меня имевшее роковое значение... У нас в каждом деле так: сначала именины, а потом тяжелое похмелье.

— Вы несправедливы... — тихо заговорила Анна Ивановна, делая порывистое движение. — Да, несправедливы. Все это мертвые выкладки, оторванные от жизни. Всякий может ошибаться и падать, но, за вычетом этих ошибок, остается то доброе и вечное, к чему хорошие люди всегда стремились душой и будут стремиться. И поэтому сто́ит жить... да, сто́ит.

Голос у нее дрогнул и порвался. Сажин молчал, подавленный тем, что шевельнулось у него в глубине души, — перед ним развер-

тывалась широкой лентой та же аллея, по которой они когда-то гуляли под руку...

— Сто́ит жить... да!..— повторила Анна Ивановна задыхающимся голосом.— Что же вы молчите, дрянной эгоист?..

— Анна Ивановна, что́ вы делаете...— прошептал Сажин, опуская голову.— Знаете, я так недавно уверен был в своей смерти и даже желал ее... Зачем вы тогда приходили и зачем теперь говорите все это?.. У меня кружится голова...

— Я хочу спасти вас... да, спасти. Страшно ничтожество, страшна пустота... Один час счастья лучше десятков лет гнилой, проклятой жизни. Я хочу видеть вас таким, каким знала тогда...

Она придвинулась к нему и взяла его за руку. Сажин чувствовал, как эта маленькая рука дрожала.

— Анна Ивановна...

Послышался неопределенный сухой смех, а когда он взглянул ей в лицо — оно ответило ему восторженной, счастливой улыбкой. Большие темные глаза так и горели, рот был полуоткрыт.

— Мне под тридцать лет, а я еще не начинала жить...— шептала она со слезами в голосе.— Я никого не обвиняю, но мне хочется жить... день, час жить — это все равно. Пять лет идет моя пытка... нет, казнь. Я поддавалась иллюзиям своего курятника, наконец, просто плыла по течению, а это ужасно... Да, ужасно! И весь ужас своего положения я поняла только тогда, когда услышала о вашей болезни... Ведь достаточно не-

скольких дней, чтобы человека не стало — для чего же тогда жить?.. Я не знала, что иду тогда к вам, и пришла, как не знала этого сегодня... Есть вещи сильнее нас. У меня нет больше сил... я задыхаюсь...

Она сорвала шляпку с головы и хотела еще что-то сказать, но Сажин привлек ее к себе и по-отечески поцеловал в лоб. У него кружилась голова от прилива безумия, а она прижималась к нему всем телом, точно хотела прирасти.

— Да, сто́ит жить...— шепотом повторял Сажин.

— Завтра вы придете сюда ровно в одиннадцать часов... нет, лучше в час. Что же вы молчите?.. А то я могу пройти к вам в дом... Испугались, Павел Васильевич?.. Мне все равно и нисколько не страшно... Придете?..

— Да...

— Нет, повторяйте за мной: я приду завтра в час в городской сад и буду здесь терпеливо ждать вас, Анна Ивановна, вот в этой самой аллее...

— Я приду завтра в час...

— Довольно... верю...

В боковой аллее, на скамейке, сидела Прасковья Львовна и самым скромным образом занималась отчасти ботаникой, отчасти минералогией и даже зоологией. Кругом нее валялись разорванные в мелкие клочья листочки сирени, скрученная в развивавшуюся спираль трава, а зонтик ковырял в песке и несколько раз гонялся неудачно за пролетавшей мимо зеленой мухой. Все это, взятое вместе, доказывало только нетерпение Прас-

ковьи Львовны, которая не умела ждать. Она пришла в сад вместе с Анной Ивановной и время от времени сквозь листву аллеи наблюдала сидевшую далеко от нее парочку. Однако они совсем забыли об ее существовании, и Прасковья Львовна сгорала желанием выйти из своей засады.

— Помилуйте, да в это время можно, по крайней мере, десять раз исповедаться!.. — ворчала она, поднимаясь с места.

В самый решительный момент, когда Прасковья Львовна хотела уже идти, она взглянула направо и там, в другой боковой аллее, увидела мужскую фигуру, которая очень внимательно наблюдала ее сквозь редкую весеннюю зелень. Прасковья Львовна даже присела со страху, — ей показалось, что это был Куткевич. В следующий момент она рассмотрела бродившего по аллее Окунева и ругалась вслух.

— Вот еще скотина!.. Ведь ушел из сада, а тут точно из-под земли вырос...

Они стали наблюдать друг друга и со сдержанной злобой делали вид, что ничего не замечают. Это несколько развлекло Прасковью Львовну, и она с новым ожесточением принялась рвать траву и даже бросала камешками в воображаемого неприятеля. Когда показалась Анна Ивановна, Прасковья Львовна пошла к ней навстречу и на ходу говорила:

— Что же вы это со мной-то делаете, голубчик?.. Ведь я тут могла умереть напрасной смертью... Битый час сидела, как лягушка.

Анна Ивановна, вместо ответа, горячо расцеловала Прасковью Львовну и, закрыв глаза, несколько секунд безмолвно ее обнимала.

— Значит, хорошо, что я не выкатила к вам?.. — спрашивала Прасковья Львовна, растроганная этой нежностью.

— Да, хорошо... Впрочем, я не знаю, чтó говорю...

— А меня так и подмывало... Я все сказала бы имениннику, решительно все!.. А тут еще навязался Окунев: бродит вон по той аллее, как волк...

— Какой Окунев?

— Ах, боже мой... Да тот самый, который давеча с Сажиным!.. Ну уж в следующий раз, благодарю покорно, я не буду разыгрывать Марту... И я подозреваю, что этот Окунев ужасно глуп!..

Анна Ивановна не понимала ни одного слова из этой болтовни и шла из сада, крепко опираясь на руку своей дуэньи.

— Ну, чтó он? — спрашивала ее Прасковья Львовна в третий раз.

— Кто?

— Ах, господи!.. Вы меня сегодня возмущаете, голубчик.

— Виновата: стóит жить...

XXIV

В кабинете Сажина произошло маленькое недоразумение. Сейчас после завтрака хозяин выразил некоторое беспокойство и два раза посмотрел на часы.

— Господа, вы меня извините... — говорил он, отыскивая шляпу. — Мне необходимо сходить по делу. Всего на час, много на два...

— Пожалуйста... — брякнул Окунев, стараясь не смотреть на вертевшего головой Пружинкина.

Вышла неловкая сцена, точно Сажин хотел скрыться от своих друзей потихоньку. Пружинкин не мог понять, как это Павел Васильевич пойдет один. Окунев молчал и только закручивал свои рыжие усы.

— Во всяком случае, я скоро вернусь... — говорил Сажин, по пути рассматривая свою фигуру в зеркале.

Друзья так и остались при собственном недоумении, а Сажин торопливо шагал по направлению к городскому саду: он боялся опоздать и еще раз посмотрел на часы. Оставалось полчаса. День был солнечный, и Сажин сильно задыхался. Но вот и сад, обыкновенно пустой в это время. Пробежав центральную площадку, Сажин в заветной липовой аллее носом к носу встретился с Прасковьей Львовной, которая, видимо, его поджидала.

— Вы аккуратны, как гимназист... — встретила она его, протягивая руку. — Ну, здравствуйте. Что вы так дико смотрите на меня?.. Не бойтесь, не продам... Я пришла сюда на свидание по поручению известной вам особы, которая послала мне записку... Позвольте, где она у меня?

В кармане нигде записки не оказалось, и Сажин растерянно смотрел, как Прасковья Львовна ощупывала себя. Он не ожидал

именно этой встречи и не знал, как себя держать с недавним врагом.

— Ах, какая проклятая память! — вскричала она, делая энергический жест. — Оставила в своей комнате на столике... Да, теперь отлично помню. Но это все равно — эта особа просила вам передать, что она сегодня не может приехать, и еще... позвольте... чтó она такое пишет? Послушайте, будет самое лучшее, если мы поедем сейчас же ко мне... это послужит кстати доказательством, что вы не сердитесь на меня. Не правда ли?

— Было бы удобнее, если бы вы постарались припомнить... — настаивал Сажин.

— Помню, что есть что-то такое, но эти записочки пишутся такими экивоками, что мудреца сведут с ума... Верно одно, что дело идет о вас.

Не дожидаясь согласия, Прасковья Львовна подхватила Сажина под руку и потащила из сада. Он не сопротивлялся и покорно выслушивал сыпавшуюся на него болтовню.

— Во-первых, я не только не сержусь на вас, но даже считаю себя виноватой перед вами, — объясняла Прасковья Львовна на ходу. — В сущности, мы все одинаково виноваты... Но вы-то хороши, милый человек!.. Хоть бы одно слово все время... Ну, скажите откровенно, легко женщине первой прийти на свидание, первой протянуть руку и первой начать объяснения?.. Да... А вы именно поставили так ту особу, о которой я говорю...

— Позвольте, мы, кажется, не понимаем друг друга, Прасковья Львовна?

— Не притворяйтесь, пожалуйста... О чем

вы могли вчера толковать битый час?.. Мне до этого нет дела, а только поставьте себя в положение женщины, которая даже в таком исключительном случае должна принимать на себя почин...

— Все-таки я не понимаю, для чего вы все это говорите, Прасковья Львовна? — удивлялся Сажин, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться.

— И вы спрашиваете?.. Вы, значит, не хотите видеть той великой в своей чистоте женской души, которая жертвует всем для... ах, для этого нет слов, а можно только чувствовать.

Они взяли первого попавшегося на глаза извозчика и отправились на окраину, где желтой однообразной полосой тянулась казенная больница. На правом крыле помещалась квартира Глюкозовых, и уже издали пахнуло специфической лекарственной струей. Прасковья Львовна нетерпеливо дернула за ручку звонка и с самым торжественным видом вошла в переднюю. Что поразило Сажина, так это голос о. Евграфа, доносившийся из кабинета, — он о чем-то по обыкновению спорил.

— Сюда... — коротко пригласила Прасковья Львовна гостя в небольшую залу, в которой Сажин успел заметить угол рояля.

Когда-то он бывал здесь, но теперь совсем забыл обстановку. В зале, на сером диванчике, обитом выцветшим репсом, сидела Анна Ивановна. Она смущенно поднялась при появлении Сажина и молча протянула ему руку.

— А я не утерпела: соврала... — каялась

Прасковья Львовна, довольная своей выдумкой. — Хотела испытать его чувства. Да и что за свиданья в городском саду, куда бегают одни гимназисты... Можно попасть в очень неприятную историю.

— У вас неистощимая фантазия, Прасковья Львовна... — проговорил Сажин, прислушиваясь к голосам в кабинете.

— Хорошо, хорошо... Я не буду вам мешать и скромно удаляюсь.

Исполнить это благочестивое намерение ей помешал умоляющий взгляд Анны Ивановны, которая еще не проронила ни одного слова. Сажин тоже чувствовал себя неловко, что уже окончательно возмутило Прасковью Львовну.

— Что же, прикажете мне за вас объясняться? — бранилась она, размахивая руками. — По-моему, господа, прежде всего вам нужно куда-нибудь уехать... Да, да. Не спорьте: в Крым, на Кавказ, в Италию. Путешествия имеют глубокий философский смысл... Да и необходимо встряхнуться от домашней паутины. Послушайте, Павел Васильевич, что вы смотрите на меня такими глазами? Анюта сегодня объяснилась с господином Куткевичем... Все кончено.

Одним словом, язык Прасковьи Львовны выговаривал все, что давило Сажина целую ночь и о чем он не решался бы спросить Анну Ивановну. Все вышло как-то само собой... На лице Анны Ивановны он прочитал свой приговор и горячо поцеловал ее руку.

— Ну, дети мои, обнимитесь же... — шеп-

тала Прасковья Львовна, напрасно стараясь сдержать душившие ее слезы.

Но они и не думали обниматься, слишком счастливые налетевшим вихрем. В дверях залы в это время появился о. Евграф и смотрел с удивлением на взволнованную Прасковью Львовну: кажется, ничего особенного не случилось? Недоумение о. Евграфа послужило развязкой общего напряженного состояния, тем более, что о. Евграф в своей святой простоте не подозревал даже ничего особенного в этом появлении Сажина именно здесь, у Глюкозовых, и во встрече его с Анной Ивановной. Вошел и сам доктор Глюкозов, высокий и плотный господин с серьезным и симпатичным лицом. Сажин первый протянул ему руку и проговорил:

— Мы теперь постараемся быть совсем здоровыми людьми, доктор...

— О, да... Это самое непременное условие общего благосостояния, — подтвердил о. Евграф. — Mens sana in corpore sano *.

Таким образом состоялось примирение, и доктор Глюкозов объяснил появление Сажина именно этим обстоятельством. Он не принадлежал к числу дальновидных и подозрительных людей. Отец Евграф торжествовал, счастливый общим мирным настроением.

За обедом толковали о земских делах, и Сажин говорил с небывалым одушевлением. Он очень коротко и остроумно представил пройденный моховским земством опыт и те поправки, которые необходимо внести.

— Да, эти писаря и кабатчики уж слиш-

* В здоровом теле — здоровый дух (*лат.*).

ком... — соглашался Глюкозов. — Действительно, нужно что-нибудь такое... да. Во всяком случае, это — сила, с которой приходится считаться...

Анна Ивановна почти не принимала участия в общем разговоре, точно боялась проснуться от охватившего ее счастливого сна. Ей было неприятно, что Прасковья Львовна осыпала ее всевозможными знаками участия: заглядывала ей в глаза, ловила под столом ее руку и жала с институтским азартом, и т. д. Голос Сажина отдавался у нее в ушах как призывный звук... Да, она его любит и всегда любила... Под конец обеда, когда Прасковья Львовна не преминула сказать несколько прочувствованных слов о «подлеце», Анна Ивановна вдруг побледнела — ей нужно было возвращаться домой... Сажин понял это движение и смотрел на нее таким хорошим, полным сочувствия взглядом. Да, он болел душой за нее и разделял ее тревогу.

После обеда мужчины ушли в кабинет курить, а дамы остались в гостиной.

— Ну что́, голубчик?.. — шептала Прасковья Львовна, обнимая свою задушевную гостью. — А он любит вас... Вот и разгадка его сиденья в четырех стенах. Вы теперь счастливы?..

— Да...

Сажин вошел в гостиную и сел на кресло около Анны Ивановны. Присутствие Прасковьи Львовны его стесняло, но он преодолел себя и заговорил:

— Анна Ивановна, сейчас необходимо обдумать, что́ делать... Я не хочу подставлять

вас под обух. Самое лучшее, как мне кажется, уехать из Мохова на время..

— Нет, я не согласна бежать... — ответила спокойно Анна Ивановна, опуская глаза. — Муж уже знает, что я ухожу, мать тоже.

— Что же она? — вступилась Прасковья Львовна.

— Обыкновенная история: упреки, брань, угрозы... Муж грозит не выдавать вида на жительство, а мать проклинает вперед. Но это все равно... Было бы странно ожидать от них чего-нибудь другого. Я ухожу из дому, а не бегу. Мои личные отношения никого не касаются...

— Подлецы, подобные господину Куткевичу, обыкновенно хватаются в таких случаях за единственное средство: отнимать у матери детей, — говорила Прасковья Львовна, — но у вас, к счастью, нет этой петли... Господин Куткевич может грозить только тем, что по этапу вытребует вас на место жительства...

Счастье имело свою тень, но Анна Ивановна с истинно женским героизмом шла навстречу опасности с открытым лицом. Она была даже рада этому случаю, точно хотела купить дорогой ценой свободу. Приходилось начинать жить снова, а для этого она чувствовала в себе достаточно силы.

— Относительно подробностей мы договоримся в следующий раз, а сегодня я не могу, — сказала она на прощанье Сажину.

Он хотел ее проводить, но она запретила с печальной улыбкой: — после, после, а теперь не до того.

Когда она ушла, Прасковья Львовна строго взглянула на Сажина и заговорила:

— Вот она, русская женщина... Смотрите и казнитесь.

Сажин вернулся в гостиную и, сидя в кресле, ничего не замечал, что делалось кругом. Ему было и жутко и хорошо. Он сравнивал себя с нею и мучился угрызениями совести. Что́ он такое?.. Может ли он вознаградить хоть сотой долей за это налетевшее счастье? В ней каждое движение так просто и естественно, как в растении: нет ни одной фальшивой ноты или вынужденного штриха, а он полон мучительной раздвоенности и сомнений. Каждый шаг вперед выкупался внутренним разладом и разными побочными внушениями. Не было этой цельности и крепости чувства. И теперь, когда замер шум ее шагов, Сажин вдруг почувствовал поднимавшееся в глубине души знакомое чувство, и его душой овладел страх... Как она посмотрит на него, когда первый пыл страсти минует?

— Что же вы молчите, Павел Васильевич? — спрашивала его Прасковья Львовна, принимая вызывающую позу. — Вы недовольны? Вам мало этого?..

— Я?.. Что я хочу?.. — спрашивал Сажин в свою очередь и горько усмехнулся.

— О чем вы еще думаете?..

Он не понимал ее вопроса и смотрел куда-то в пространство.

— Думали ли вы о том, что нам, женщинам, некого любить?.. — говорила Прасковья Львовна, краснея от волнения. — Некого!..

В другом мы любим наше неудовлетворенное чувство, потому что в наши руки любимый человек поступает инвалидом... Женщина отдает все и получает плату стертой монетой, вышедшей из употребления. В этом — величайшее и непоправимое зло...

— Что же делать?..

— Ах, я сама не знаю...

Сажин отвернулся. Потом он быстро поднялся, как-то неловко сунул холодную руку своей собеседнице и, пошатываясь, как пьяный, вышел из комнаты. Прасковья Львовна проводила его глазами, пока Сажин дошел до угла — он шел с опущенной головой, какой-то расслабленной, колеблющейся походкой.

XXV

В злобинском доме происходила та скрытая семейная драма, какими полно наше тревожное время. Анна Ивановна наотрез объявила мужу, что жить с ним не будет и навсегда уходит из дому. Это известие сначала ошеломило Марфу Петровну, а потом она приняла сторону зятя и напала на дочь с особенным раскольничьим ожесточением и даже бросалась на нее с кулаками. Сам Куткевич пробовал несколько тонов: уговаривал жену, грозил ей и даже плакал.

— Понимаете ли вы, что я жить не могу больше с вами... — коротко объясняла Анна Ивановна. — У нас противоположные вкусы, потребности и мысли.

— Ты влюблена в кого-нибудь? — догадывался Куткевич.

— Это мое дело... В качестве оскорбленного мужа вы можете меня стрелять, резать и водворять на место жительства этапным путем... Мы никогда не понимали друг друга и не поймем...

— Я тебя лишу наследства, — кричала Марфа Петровна.

— Мне ничего не нужно.

— Прокляну!

— Это дело ваше.

— Куда же ты уходишь?..

— Я?.. В народные учительницы.

За Анной Ивановной, конечно, следили, караулили ее каждый шаг и донимали по мелочам, но она была спокойна, как всегда, и только в крайних случаях запиралась на ключ в своей комнате или уходила к Прасковье Львовне. Имя Сажина скоро всплыло наружу и стало повторяться на все лады, особенно Марфой Петровной, которая впадала в какое-то бешеное состояние. Куткевич принял огорченный вид напрасной жертвы и запирался в своем кабинете, где, в качестве обиженного, напивался пьяным. К жене он стал относиться с затаенной злобой, хотя ел по-прежнему прекрасно. Вся эта комедия вызывала в душе Анны Ивановны гадливое чувство и органическое отвращение, которое не знает пощады. Она удивлялась самой себе, что могла жить в этой обстановке, где все — фальшь, ложь и обман.

— Мама, вы напрасно огорчаетесь, — говорила она матери: — господин Куткевич останется с вами и будет полезен в ваших делах. Можете даже открыть ссудную кассу...

— И будем жить, а ты ступай к *тому*...

Завертывавший на минутку Пружинкин имел самый жалкий вид и покорно выслушивал ядовитую брань Марфы Петровны, сыпавшуюся на него градом. Улучив минутку, он шепотом докладывал Анне Ивановне:

— А Павел-то Васильевич все собираются куда-то... Книжки свои укладывают, бумаги сбирают, настоящее землетрясение. И Окунева с Корольковым порешили-с... Те было по-старому к нему, а у Павла Васильевича уж свое на уме. Встрепенулись, как орел...

О сути дела Пружинкин ничего не знал, хотя имел все основания догадываться. Он с особенной пытливостью останавливался на выражении лица Анны Ивановны и угнетенно вздыхал, придавленный своими тайными «теребиловскими» соображениями. У старика даже навертывались слезы при мысли, что вот Павел Васильевич — возьмут да и уедут...

Но домашние неприятности и передряги не так страшили Анну Ивановну, как встреча с Сажиным. Ею овладевал непреодолимый страх за него, и она успокаивалась только в его присутствии. Порыв энергии, подхвативший его, сменялся иногда припадками малодушия и сомнений. Раз, когда они сидели вдвоем в гостиной Глюкозовых, Сажин взял Анну Ивановну за руку и проговорил:

— Знаете, какое у меня общее чувство?.. Мне кажется, что все это творится во сне... На самого себя я начинаю смотреть как-то со стороны. Да... Иногда делается даже неловко.

— Я испытываю нечто подобное...

— И вам не бывает страшно?..

— Нет... то есть, как сказать...

— Понимаю: у вас есть достаточное количество отрезвляющих обстоятельств... Приходится отстаивать себя, а у меня вся работа происходит внутри и не имеет никакого внешнего регулятора. Так, я недавно сижу у себя в кабинете, задумался, и вдруг вижу и вас и себя: это не галлюцинация, а что-то неуловимое. И я уверен, что действительно видел самого себя... Вот этот взгляд со стороны и перепугал меня... В самом деле, то чувство, которое соединяет людей, — святое чувство, и его можно провести через всю органическую природу. И мне казалось, что я вижу вашу душу со всей чистотой помыслов, со здоровой честностью и могучим чувством. Да... Дальше мне казалось, что вы, делая решительный житейский шаг, не отдаете себе отчета в нем. Всякий человек имеет право дышать, свободно двигаться и любить... Но жизнь сложилась для вас самым неблагоприятным образом, заставляя нарастать неудовлетворенное чувство с болезненной силой. Вот где разгадка того, что вы пришли тогда ко мне, больному, а потом в сад... одним словом, вы обманываете самое себя и обманываете совершенно серьезно.

— Это фантазия, конечно?

— Дайте мне кончить. Так вот все это я и видел, и мне сделалось страшно, что может наступить день, когда вы проснетесь и увидите свою последнюю ошибку. Позвольте, позвольте... Прасковья Львовна говорит то же самое, но только в более общих чертах. Хо-

рошо... Мне сделалось тяжело, и тяжело не за себя, а за вас. Признаюсь, что потом явились соображения эгоистического склада: я опять один, брошенный, забытый и т. д.

— Вы просто больны, Павел Васильевич...

— Ах, не прерывайте!..— заметил Сажин и даже поморщился,— он и сейчас говорил о себе и Анне Ивановне как о чем-то постороннем и далеком.— Мне сделалось жаль себя... Только человек начал подниматься на ноги, и вдруг барометр падает — спасения нет. Хорошо... Но тут мне пришла такая мысль, которая заставила похолодеть. Мне показалось, что я, тот другой я, которого я наблюдал, не любит вас. Он поддался этому чувству и увлекся. Но в нем, в глубине его души, я видел ужаснувшую меня пустоту: ему нечем было ответить на святое и могучее чувство. Притча о погибшей и возвращенной овце хороша, но здесь она неуместна. Да, именно здесь нужен высокий подъем всех сил, а главное — чистая, великая в своей простоте душа... Я не умею передать вам все это в той мере, как видел тогда, но я ужаснулся, точно совершал святотатство... Сами люди исчезли из поля зрения, а оставалось то общее и великое, что́ было до нас и что́ переживет всех нас. А я, наблюдавший все это, сознавал, что еще никогда так не любил вас, как в этот момент, потому что чувствовал самого себя лучшим, чем был прежде, и готов был молиться на вас... Не правда ли, как все это походит на горячечный бред: и любит, и не любит, и какой-то нелепый страх...

Такой разговор повторился, и Анна Ива-

новна убедилась, что эти рассуждения составляют только признак общего ненормального состояния. Сажину нужен был отдых и покой прежде всего, а потом все это пройдет. Прасковья Львовна замечала то же самое и торопила отъездом — куда? — это решительно все равно. Сажин не возражал против такого решения и соглашался на все. Он чувствовал себя несправедливо счастливым и покорялся. Встречи и разговоры с Анной Ивановной по-прежнему происходили у Глюкозовых. Она приходила сюда такая счастливая, ласковая и встречала Сажина таким покорным взглядом...

— Чтó это они какие странные? — спрашивал жену доктор Глюкозов, обративший наконец внимание на своих гостей.

— А кто их разберет... — уклончиво отвечала Прасковья Львовна, слишком занятая своими собственными делами, чтобы обращать еще внимание на мужа.

— Можно со стороны подумать, что они влюблены.

— Я этого не замечаю.

Впрочем, сомневавшегося доктора успокоил о. Евграф, который тоже ничего особенного не замечал, как и Прасковья Львовна.

Назначен был и день отъезда. Вида на жительство Куткевич жене не выдал, поэтому Сажин решил провести первое время у одного старого знакомого, который жил в Пятигорске, а там начать процесс. Это обстоятельство придало ему сил, как всякая борьба. О, он добьется своего, и Анна Ивановна

будет свободна! Бодрое и хорошее настроение не оставляло его до последнего момента.

Накануне отъезда Окунев и Корольков сидели в кабинете Сажина за полночь и толковали о разных посторонних материях. Сажин говорил с оживлением и строил планы будущего. Пружинкин скромно слушал его, сидя в уголке, и тяжело вздыхал.

— Я уезжаю не надолго, самое большее на год, — повторял Сажин несколько раз с особенной уверенностью. — А потом обязательно вернусь сюда... Необходимо встряхнуться.

— Такие комбинации есть даже в механике, — философствовал Окунев, шагая по кабинету.

По плану отъезда Сажин и Анна Ивановна должны были явиться утром к Глюкозовым, где их уже будут ждать лошади. Прасковья Львовна почти не спала всю ночь, ожидая этого момента, и встала чуть свет. День выдался серенький, с накрапывавшим дождем — для отъезда примета хорошая. К восьми часам она испытывала лихорадку и для успокоения выпила даже рюмку коньяку. В девять ровно приехала Анна Ивановна, уходившая навсегда из родительского гнезда, в чем была.

— Где Павел Васильич? — кинулась к ней Прасковья Львовна.

— Я столько же знаю, как и вы...

— Однако это странно!..

Анна Ивановна присела в гостиной, не снимая шляпы и перчаток, а Прасковья Львовна послала какого-то больничного сол-

дата к Сажину узнать, что́ и как. Но этого посланца предупредил Пружинкин, летевший в больницу на извозчике. На старике лица не было.

— Что случилось?..

Он не мог говорить от волнения и молча подал Анне Ивановне узенький конверт с запиской. Сажин писал:

«В последний раз простите меня, дорогая Аня... Схожу со сцены, потому что так нужно. Когда-нибудь вы поймете меня... Я там, откуда нет возврата. Ваш «именинник».

Сажин в это утро застрелился. Он совсем был готов отправиться в путь и даже оделся по-дорожному, а потом присел к столу, написал записку и попросил Пружинкина свезти ее Анне Ивановне сейчас же. Когда Пружинкин надевал в передней калоши, в сажинском кабинете раздался роковой выстрел.

— Эх, Павел Васильич, Павел Васильич, немножко бы подождать! — повторял несколько дней неутешный Пружинкин, оплакивавший своего патрона искренними слезами. — Эх, Павел Васильич...

Через год избушка Пружинкина на Дрекольной улице была снесена, а на ее месте вырос небольшой полукаменный флигелек в три окна. В нижнем этаже поселился сам Пружинкин с глухой Антоновной и состарившимся Орликом, а вверху Анна Ивановна с Володиной — обе были преподавательницами в теребиловской школе. О. Евграф, навещавший «учительш», задумчиво замечал:

— Что же? Могий вместити да вместит!..

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ ЛЮДИ

Очерки провинции

ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК НА МАЛЫЕ ДЕЛА

1

Величайшей слабостью Аристарха Иваныча были письма. Получать письма, писать письма — лучше ничего не могло быть на свете. Он накидывался на каждое письмо с такой торопливостью, точно кто-то гнался за ним по пятам с явными намерениями выхватить у него из рук драгоценный документ. Для писем у Аристарха Иваныча было устроено что-то вроде «ковчежца», куда он прятал свои сокровища. Периодически он доставлял себе наслаждение перебирать их, перечитывать и сортировать по какой-нибудь новой системе: по годам, по авторам, по содержанию. Местные остряки уверяли, что Аристарх Иваныч вел переписку даже с собственной женой, когда она уходила на кухню. Прибавьте к этому еще то, что во всем остальном Аристарх Иваныч был ужасно беспорядочным человеком и постоянно что-нибудь забывал — палку, калоши, зонтик, книги, носовые платки, адресы, деловые сроки, фамилии своих лучших друзей!

Можно себе представить настроение Аристарха Иваныча, когда он начал получать

ежедневные письма десятками. Это было что-то невероятное, феерическое, роковое, и, как мне казалось, Аристарх Иваныч иногда сам не верил собственному счастью. Дело в том, что в Энске задумали устроить научно-кустарную выставку, и Аристарх Иваныч был избран секретарем. Это был уже настоящий пост, и Аристарх Иваныч проникся с первого момента сознанием громадной ответственности, возложенной на него представителями местного самоуправления. Он являлся в роли своего излюбленного человека и не мог не гордиться этим, сознавая в то же время, что нес свои полномочия по некоторому праву. Нужно сказать, что Аристарх Иваныч принадлежал к совершенно особенному типу, который можно охарактеризовать «человек по чужим делам». В Энске ни одно благое начинание не обходилось без Аристарха Иваныча, особенно когда требовался даровой труд. Каждое такое благое начинание открывалось тем, что приглашали Аристарха Иваныча и на него взваливали сначала подготовительную работу, потом исполнение и, наконец, ликвидацию. Всем почему-то казалось, что именно Аристарх Иваныч должен был все это проделать, а не те, кто вздумал благое начинание и кто погреет около него руки тем или другим путем. Самому Аристарху Иванычу никогда и в голову не приходило отказаться от новой даровой работы, он добросовестно впрягался в новый воз. Особенно эксплуатировали его благотворительные дамы. В самом деле, кто же будет устраивать любительский спектакль в пользу погорельцев, благотвори-

тельный базар, кто будет собирать пожертвования, составлять проекты нового устава, вести бухгалтерию, кто, наконец, напишет корреспонденцию об энском благом начинании? Но всего трогательней был тот момент, когда благое начинание проваливалось и ответственным лицом оставался один Аристарх Иваныч. Откуда-то являлись очень строгие и солидные люди, которые начинали его усчитывать, находили ошибки и промахи, выслушивали его объяснения с обидно-снисходительными улыбками и в лучшем случае между строк давали ему понять, что он и глуп, и даже как будто нечист на руку. Аристарх Иваныч горячился, кричал до хрипоты, просиживал ночи над проклятыми отчетами и клялся всеми богами, что это уже в последний раз.

— Да чтобы я?.. когда-нибудь?! Разбейте мне голову, если я когда-нибудь впутаюсь в такую глупость...

Эти угрозы не мешали после некоторого отдыха опять попасть на путь благих начинаний. Милый Аристарх Иваныч... При одном слове «провинция» он встает предо мной, как живой, — немного сутуловатый, костлявый, с впалой натруженной грудью и угловатой головой, с непокорной шевелюрой, добрыми серыми глазами и в характерно заношенном костюме, — даже платье сейчас с иголочки имело на нем вид заношенного. Мне не верится до сих пор, что его уже нет на свете, и что вообще можно жить без Аристарха Иваныча, и что без его участия продолжает твориться таинственная «история

цивилизации Энского уезда». Мне кажется, что вот-вот послышится осторожный стук в двери, потом появится его угловатая голова и как-то виновато спросит:

— А я вам не помешаю?

— Милый Аристарх Иваныч, да нисколько...

Я даже слышу эту шмыгающую походку — Аристарх Иваныч ходил точно на чужих ногах, которые были ему немного не впору, — слышу предупреждающее покашливание, чахоточный тенорок, и мне хочется пожать эту холодную костлявую руку и сказать, как я рад его видеть. Когда в газетах встречаешь провинциальную корреспонденцию, в которой неизвестный автор так хорошо негодует по поводу несовершенства жизни, или, в редких случаях, с какой-то детской радостью отмечает некоторое пробуждение, а особенно отрадное явление, — мне кажется каждый раз, что это проносится возмущенная тень Аристарха Иваныча или слышится его одобряющий голос.

Извиняюсь за это несколько лирическое отступление, которое может показаться наивным и смешным в наше трезвое время, недоступное увлечениям. Но разве можно говорить об Аристархе Иваныче другим языком? Это был неисправимый идеалист, вечно кипевший и мучившийся, горевший на чужой работе и считавший себя самым грубым реалистом. Не существовало большего оскорбления для Аристарха Иваныча, если кто-нибудь называл его идеалистом.

— Вот уж, батенька, действительно, попа-

ли пальцем в небо,— негодовал он.— Я? Идеалист?! Ха-ха... Настоящий реалист, даже реалистище... Мы еще по матрикулам вылетели из университета, много нас таких-то. А вы: идеалист... Нечего сказать, похож, как уксус на колесо. Даже и совсем родня: нашему кузнецу двоюродный плотник.

2

Но вернемся к событию, к тому моменту, когда Аристарх Иваныч находился на самой вершине возможного для человека благополучия. Я нарочно заходил в земскую управу, чтобы полюбоваться им. Аристарху Иванычу была отведена особая комната, где он и высиживал с утра до ночи, разбирая свои письма, строча ответы и делая какие-то мудреные выкладки. У нас только раз произошла маленькая размолвка, когда я неосторожно спросил его о вознаграждении. Аристарх Иваныч весь выпрямился и довольно сурово ответил:

— За кого вы меня принимаете? Это такое дело... такое...

— Но ведь у вас есть семья, Аристарх Иваныч... Было бы лучше выговорить все вперед, чтобы оградить себя от недоразумений.

Аристарх Иваныч презрительно съежил свои костлявые плечи и только сердито фыркнул носом, как, вероятно, и подобало настоящему реалисту.

— Вот вы говорите о пустяках, а дело серьезное,— заговорил он деловым тоном, похлопывая костлявой рукой по специально по-

добранной пачке казенных пакетов.— Губернатор нас режет, батенька... У нас ассигновано было земством на выставку восемьдесят тысяч, а он урезал в сорок три. Скажите, пожалуйста, почему сорок три, а не сорок две, не сорок пять?.. Решительно не понимаю... Затем, у нас название выставки было: научно-промышленно-кустарная, а губернатор вычеркнул слово «промышленная». «Какая такая,— говорит,— у вас промышленность? Две курицы да петух — вот и весь промысел». А что выходит теперь: научно-кустарная, это значит в переводе — кустарная наука... Черт знает что такое получается!.. Я два раза ездил объясняться с ним, а там гадит чиновник особых поручений Перевертов, которому не нравится самое слово: промышленность. Представьте себе: не выносит этого слова, и конец. Оригинал какой-то.

— Дело не в названии, Аристарх Иваныч...

— Не в названии?! А что скажет пресса? Вот этакой столичный корреспондент приедет и осмеет... Мало того, о нашей выставке проникли известия в заграничные издания. Что скажет Европа?.. Вот у меня лежат два письма из Америки, одно из Бельгии, одно из Швеции, три из Франции... Даже есть из Монако... Что вы на это скажете?

Устройство выставки началось с января и продвигалось с лихорадочной быстротой. Город отвел пустовавшее каменное здание упраздненной школы кантонистов, мрачное и полуразвалившееся, с аракчеевским фронтоном и казенными колоннами. Рядом был клубный сад, который был великодушно уступлен

тоже под выставку. Строили киоски, какие-то деревянные башни, фонтан, красили, штукатурили, декорировали — одним словом, работа кипела. Аристарх Иваныч преисполнялся каким-то благоговением, когда попадал на место будущей выставки, особенно в кантонистскую казарму, отведенную для научного отдела. Его приводили в восторг замысловатые витрины, шкафы и все мелочи выставочной обстановки.

— Да, пусть приедут и посмотрят, — повторял он с самодовольной улыбкой. — На наш призыв уже откликнулись ученые силы со всех сторон... Прибудут университетские профессора, делегаты разных ученых обществ, журналисты. Пусть они все посмотрят, как живет провинция. Э, батенька, не прежние времена, когда было только и свету в окне, что столицы да университетские города. Нет, батенька, и мы тоже существуем.

Особенно трогательное внимание Аристарх Иваныч обратил на научный отдел, в котором проводил все свое свободное время. Тут была и частичка этнографии, и частичка археологии, и частичка энского естествознания, и местные исследования по разным отраслям знания, материалы, собранные местными статистиками, и этнографические карты, и фотографии, и подобранная номер к номеру местная газета «Энский корреспондент». Тут же красовались два клыка мамонта, коллекция местных почв, свитки времен Алексея Михайловича, железные вериги во Христе юродивого Хрисанфа, нумизматическая коллекция, головные уборы энских баб. Гвоздь отдела со-

ставляла сводная летопись Энского уезда, входившего когда-то в одну из новгородских пятин. Ее собирал в течение всей своей жизни местный историк-любитель Антропов, большой приятель Аристарха Иваныча.

— А вот пусть посмотрят, как мы работаем, — повторял Аристарх Иваныч, стараясь разложить десять томов летописи самым выгодным образом. — Если бы каждый русский уезд имел такую историю, батенька, — что бы это было? Ведь русская история только еще начинается, и материалы для нее доставит только провинция, а там уже все настоящие ученые разработают.

Аристарх Иваныч как-то особенно любовно похлопывал рукой неуклюжие томы энской летописи, отходил в сторону и обращал на них свое внимание с разных точек. Нет, нужно их не так поставить, чтобы книги бросались в глаза прежде всего. Ведь это ценный вклад в настоящую науку, а не какие-нибудь клыки мамонта, происхождение которых было очень сомнительно. Да, пусть посмотрят.

У Аристарха Иваныча все-таки оставалось достаточно времени для негодования.

— Там, в столицах, на нас смотрят свысока, как на каких-то межеумков... Нам не верят. Говоря откровенно, меня вообще удивляет отношение к нам столиц. Вы обращали внимание, как они к нам относятся, то есть в данном случае к провинциальным изданиям? Я уж не говорю о провинциальных газетах, которые третируются, с позволения сказать. А вы возьмите книгу, изданную где-

нибудь в Воронеже, Иркутске, Кишиневе или Архангельске, — одного этого достаточно, чтобы ее замолчали или передали на рассмотрение какому-нибудь редакционному племяннику. «Помилуйте, книга, напечатанная в какой-то губернской типографии... Ха-ха!..» И я не скажу, что это делают дурные люди и тем более-с дурными намерениями, а так, по укоренившемуся недоразумению, с одной стороны, и с другой... Вы знаете, что русский человек вообще не ценит труда, скажу больше — относится к нему враждебно. Укажу вам на живой пример... У нас город разводит сквер и каждый год подсаживает новые деревья. И что же получается? Вы видите поломанные сучья, вырванные с корнем саженцы... Кому это нужно? Возмутительно именно то, что проявляется какое-то тупое и бессмысленное озлобление к чужому труду. Вот ты работал, трудился, заботился, а я приду и единым махом всю твою работу к черту... Я еще понимаю, когда дама, несмотря на все предупреждения и запрещения, ворует цветы, — в этом проявлении дамской преступной воли есть своя цель, именно украсить свою особу наворованными цветами, — а страшно бессмысленное зло.

3

Период письменного блаженства Аристарха Иваныча скоро кончился. Взвились флаги, заиграл плохонький военный оркестр, повалила публика — выставка была открыта. Появились и дорогие гости: профессор Белоро-

тов, делегат от трех ученых обществ Налетов, два корреспондента столичных газет — Черешкевич и Бертенсон, шведский профессор Стрем, какой-то шалый английский велосипедист Жиль, два очень сомнительных французика, ветхий старичок Синицын, собиравший памятники старины, начинающий художник Молодкин, известный педагог Гурин и еще несколько лиц неизвестных профессий, фамилий и неизвестных намерений. Были совсем странные субъекты, как один дьякон, который приехал на выставку, потому что страдал бессонницей.

Гостей принимали с русским радушием, особенно ученых братьев и знатных иностранцев, Аристарх Иваныч лез из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь как перед отечеством, так особенно перед Европой. С первых шагов оказались налицо и маленькие недоразумения. Профессор Белоротов, осмотрев всю выставку, брезгливо спросил:

— И это все?..

— Помилуйте, чего же вам еще нужно, профессор? — обиделся Аристарх Иваныч. — Надеюсь, вы обратили внимание на сводную летопись Антропова?

— Да... Гм... Вообще... Знаете, это труд, который еще требует серьезной научной проверки. Работы, без сомнения, затрачено много, но ведь мы, русские, и сейчас еще изобретаем часы, швейные машины и perpetuum mobile.

Докторальный профессорский тон был для бедного Аристарха Иваныча ушатом холодной воды. Излюбленный провинциальный че-

ловек невзлюбил сразу важничавшего ученого.

— Это он здесь ломается, а там, в университете, ниже травы, — объяснял он для собственного утешения. — Обратили внимание на его голову: лысина, точно корова слизнула волосы, а усы — точно мышь во рту держит...

Но главное огорчение было еще впереди, именно когда приехал столичный статистик Лучинин, окрыленный последним словом науки, и заявил, что все труды энских земских статистов не стоят выеденного яйца. Это был худенький, белобрысенький и близорукий господин с ядовитой улыбочкой. Он необыкновенно искусно умел спорить и, в сущности, все хвалил, а выходило как-то так, что его похвалы превращались в беспощадное порицание. «Дорогие гости» вообще держались особнячком и относились к устроителям выставки со строгостью экзаменаторов. Аристарх Иваныч почувствовал в нем кровного врага, особенно когда Лучинин соединился с профессором Белоротовым. В этой комбинации было что-то зловещее, так что Аристарх Иваныч заметно упал духом. Он вперед трепетал за гвоздь научного отдела, то есть за историю Антропова. Немало затем смущали его простую душу юркие корреспонденты, точно приехавшие не на выставку, а производить обыск. Вообще в воздухе чувствовалась накоплявшаяся гроза.

Помню тот роковой день, когда ранним утром Аристарх Иваныч ворвался ко мне и молча подал номер столичной газеты, разме-

ченной цветным карандашом. Это был первый отчет об энской научно-кустарной выставке.

— Теперь все кончено! — трагически заявил Аристарх Иваныч, комкая свою шляпу. — Да... А мы-то ждали, надеялись... Где же справедливость?!

Пробежав корреспонденцию из Энска, я не нашел в ней ничего особенно ужасного. Просто корреспонденция, написанная довольно небрежно и свысока. Самый обидный пункт заключался в том, что корреспондент сравнивал энскую выставку с последней выставкой в Москве и, конечно, находил много недостатков, промахов и провинциальной небрежности. Я постарался успокоить Аристарха Иваныча, но это оказалось не так-то легко.

— Зачем вы меня утешаете? — обиделся он. — Слава богу, я и сам понимаю все... Есть что есть. А мы-то лезли из кожи, чтобы удивить мир злодейством. И кто же судьи?.. Нет, не понимаю, не понимаю этого бессмысленного озлобления, этой ненависти к чужому труду... Что-то такое стихийно несправедливое, бессмысленное и уничтожающее. Разве я не чувствую этого снисходительного профессорского недоверия? Ах, кажется, взял бы палку и всех этих дорогих гостей палкой с выставки... Не надо нам вашего столичного ума — будем жить по-своему, и конец тому делу.

Аристарх Иваныч почему-то подозревал профессора больше других и приписывал ему разные тайные козни.

— Представьте себе, что он послал нам книгу «Об испанском наследстве». Да, да...

Скажите, пожалуйста, ну какое нам дело до Испании вообще и испанского наследства в частности! Я это принял за насмешку, а он потребовал, чтобы книга была помещена в научном отделе... А потом другая, исследование о заручных записях Кирилло-Белозерского монастыря, — это тоже от него. Решительно не понимаю...

Когда была избрана комиссия для экспертизы энской науки под председательством Белоротова, Аристарх Иваныч понял, что все это значило. Эта комиссия присудила «Испанскому наследству» большую золотую медаль, а «Кирилло-Белозерскому монастырю» малую золотую. Летописи Антропова едва достался похвальный отзыв, наряду с экспонентом клыков мамонта. Священному негодованию Аристарха Иваныча не было предела.

— Это какой-то грабеж на большой дороге! — выкрикивал Аристарх Иваныч, делая угрожающие жесты. — Антропову похвальный отзыв?! а?! Как вам это нравится? Знаете, этот Лучинин — он тоже порядочная выжига — рассорился с Белоротовым и объяснил мне все: автор «Испанского наследства» какой-то меценат, а «Кирилло-Белозерского монастыря» — старый друг, — вот наш профессор и подслужился. И это в самом конце девятнадцатого века — нет, простите меня, а я решительно ничего не понимаю!.. Я вообще лучше думал о человечестве... Что же остается тогда?

Ликвидация выставки вообще принесла Аристарху Иванычу целый ряд «приятных» неожиданностей. Кто-то чем-то был обижен,

что-то такое потерялось, что-то запоздало — все теперь лезли к Аристарху Иванычу с ножом к горлу. Ежедневно получались неприятные письма, и Аристарх Иваныч не знал, что отвечать. Последней обидой для него было то, что в награду за все хлопоты по устройству выставки он получил архипастырское благословение энского архиерея, выхлопотанное губернатором.

— Это мне профессор устроил, — решил Аристарх Иваныч, ударив себя кулаком в грудь.

Большего оскорбления для мыслящего реалиста, конечно, не могло быть, и Аристарх Иваныч спрашивал всех:

— За что?

Все только пожимали плечами и несли разную чепуху.

Наконец энская выставка была ликвидирована в окончательной форме. Публика отхлынула, экспоненты развозили свои вещи по домам, окончательный разгром довершали плотники, и мерзость послевыставочного запустения водворялась с какой-то ожесточенной быстротой. Раз с прогулки я завернул сюда, чтобы повидаться с Аристархом Иванычем. Он, как оказалось, сидел в клубном садике и в одиночестве пил пиво за отдельным столиком, обсыпанным пожелтевшими осенними листьями.

— Ах, это вы... — обрадовался он мне. — Вот полюбуйтесь...

Он вытащил из бокового кармана заношенный номер местной газеты, где была на-

печатана целая статья: «Великий человек на малые дела».

— Я читал эту статью, Аристарх Иваныч. Мало ли глупости пишут и печатают...

— Совершенно согласен... Я даже рад, что все обрушилось на одного меня, то есть все ошибки, промахи и неудачи свалены на мою голову, а маленькие достоинства и успехи розданы благосклонно другим. Собственно говоря, этого следовало ожидать. Да... Знаете, из-за меня не тронули по крайней мере Антропова, и это уже хорошо. Человек, пива...

Аристарх Иваныч пил вообще очень редко и в самом небольшом количестве, и быстро ослабел. Он сидел, раскачиваясь на стуле, и говорил с больной улыбкой:

— Какой я великий человек на малые дела? Гораздо проще... Помните, как писали новгородские летописцы: «Сверзиша Якуню с моста в Волхов». Так и я полетел Якуней.

Но этот момент слабости сейчас же заменился приливом какой-то ожесточенной энергии. Аристарх Иваныч даже погрозил кому-то кулаком и пророчески заявил:

— Погодите, господа!.. А мы будем жить... да. У нас будет все свое... Мы — почвенная вода, и нами все живет. Вырвали одно деревце, посадим двадцать новых. Будущее принадлежит нам... Мы-то его, пожалуй, и не увидим, ну, дети наши увидят...

Аристарху Иванычу так и не пришлось увидеть этого счастливого будущего, о котором он мечтал. После выставки он как-то сразу захирел, осунулся и после Рождества умер.

ДВА ЛЕТОПИСЦА

1

Мне хочется рассказать о своей встрече с энским летописцем Федором Павлычем Антроповым, сводная летопись которого на энской выставке была, благодаря проискам столичных дорогих гостей, удостоена только похвального отзыва. Но прежде чем сказать об этом замечательном человеке, я считаю своим долгом сделать маленькое вступление, то есть сказать несколько слов об его предшественнике на скользком пути летописца. Этот предшественник сам по себе человек интересный, начиная с фамилии — Минусов. Есть такие роковые фамилии, в которых таинственно как бы скрыто будущее. Затем — Минусов представлял сам по себе характерное явление как тип русского неудачника. Неудачников везде много, но русские неудачники, как мне кажется, типичнее других. Они напоминают роковые письма, которые отправляют без адреса, деревья, вывороченные шальной бурей с корнем, путешественников, которые благочестиво удивляются, что на одном и том же поезде они единовременно едут в Петербург и в Москву, и так далее.

Представьте себе далекую глубину дореформенного доброго старого времени, когда единственным светочем для города Энска и для всего Энского уезда служило одно уездное училище. Еще и теперь встречаются ста-

рики, образование которых завершилось этим почтенным учебным заведением, что, однако, не помешало им проходить большие и даже блестящие пути, занимать выдающиеся посты и при случае даже похвастаться своим образовательным цензом. В сущности, ведь все это было так недавно, почти вчера, но кажется уже преданием старины глубокой. Весь педагогический склад этих давно прошедших уездных училищ был построен на так называемых «светлых головах», составляющих славу и гордость заведения. Правда, их было очень немного, но они все-таки были, и к числу их принадлежал Минусов, сын простого энского сапожника, попавший в учебу только потому, что тятенька умел «потрафить на мозоль» училищного смотрителя. Уже в исходном пункте чувствовалось какое-то роковое сцепление обстоятельств: из мозоли смотрителя выросла, так сказать, светлая голова, составлявшая впоследствии гордость города Энска.

— Ну, что наш Минусов? — справлялись обыватели друг у друга.

— Шагает, братец... Этот далеко пойдет.

— Уж этот пойдет... Башка, одним словом.

С первого дня своего появления в уездном училище маленький Минусов занял привилегированное положение «светлой головы». Шустрый и понятливый мальчик учился шутя, отличался находчивостью в ответах и служил примером для остальных. Это маленькое превосходство служило, с одной стороны, источником неиссякаемой злобы среднего лени-

вого школяра, а с другой — развивало в Минусове самомнение и склонность к уединению. Он рано отстал от кружка товарищей и весь ушел в чтение. На выпускном экзамене энский владыка Вассиан погладил талантливого ребенка по голове и сказал:

— Редкий экземпляр... Хочешь быть Ломоносовым?

Участие владыки имело после смотрительской мозоли тоже решающее значение. Богатый откупщик Эвилов, состоявший попечителем, тут же предложил взять дальнейшее воспитание шустрого мальчишки на свой счет. Благодаря этому откупному меценату Минусов через пять лет был в одном из провинциальных университетов, на словесном факультете. И здесь он тоже сразу выдвинулся из общей массы и сделался любимцем профессоров, возлагавших на него большие надежды. Почему сын энского сапожника выбрал словесный факультет, а в частности углубился в самые непроходимые дебри филологии — трудно сказать. Время летело быстро. Минусов блестящим образом кончил курс, еще студентом написал диссертацию о каких-то сближениях санскрита с тюркскими наречиями, и ему пророчили кафедру. Он остался при университете, работал над докторской диссертацией, ездил за границу и в одно прекрасное утро очутился опять... в Энске.

Как и что случилось, осталось неизвестным, за исключением того, что Минусову предпочли кого-то другого, и Минусов не мог перенести этого удара. Он раз и навсегда покончил с университетом и занял место смотрите-

ля энского уездного училища, где и остался на всю жизнь. Свою жизнь в Энске Минусов устроил довольно оригинально, начиная с того, что никуда не выходил из своей казенной училищной квартиры, ни с кем не водил знакомства и вообще повел жизнь отшельника. Время от времени о его существовании напоминали кое-какие статейки, появлявшиеся в специальных изданиях или в провинциальных губернских ведомостях. Это были отрывки чего-то, подготовительная работа, сводившаяся в конце концов к излюбленному санскриту, корни которого Минусов разыскивал в названиях рек, урочищ и озер громадного Энского уезда. Года шли за годами, пронеслась живая буря реформ, явилось земство, новые суды, новая школа, а Минусов все сидел у себя в кабинете, заваленный старинными рукописями, книгами и архивными материалами. Он умер незадолго до энской научно-кустарной выставки, умер такой же загадкой, какой жил. От него осталось несколько исследований по специальным вопросам истории Энского уезда, послуживших образцом для дальнейших работ в этом направлении. Летописец Антропов считал себя прямым его наследником и говорил:

— Минусов до конца дней остался светлой головой, ибо не мечите бисера перед свиньями... О, я его отлично понимаю!.. Именно так и следовало жить... да.

2

Хотя Антропов и говорил, что отлично понимает Минусова и что вполне одобряет образ его жизни, но это не мешало ему быть полной противоположностью, начиная с того, что автор знаменитой сводной летописи страдал неизлечимой общительностью, и кончая тем, что для занятий историей цивилизации Энского уезда не имел решительно никакой подготовки. Он окончил курс в каком-то специальном высшем заведении и на практике никогда не применял своих знаний.

В Энском уезде, заброшенном на далекий северо-восток, Антропов являлся пришельцем. Родился и вырос он где-то на юге и в Энский уезд попал совершенно случайно, всего недели на две, как было определено в маршруте, но так же случайно остался, случайно поступил на службу по другому ведомству — конечно, пока — да так и остался, потому что женился на энской купеческой дочери. В течение тридцати пяти лет он переменил до десятка мест, исколесил Энский уезд вдоль и поперек и все время собирал материалы по истории края. Сначала это делалось, может быть, от скуки, а потом перешло в настоящую страсть. Когда открыто было земство, Антропов начал издавать свою сводную летопись, представлявшую собою богатейший сырой материал. Большой ошибкой со стороны Антропова было то, что, набив руку по части собирания материалов, позволял себе делать к ним комментарии, сближения, догадки и разные

более или менее остроумные исторические комбинации.

Последнее обстоятельство послужило неисчерпаемым источником неприятностей, особенно после выставки, когда проф. Белоротов отнесся к сводной летописи с таким ученым недоверием. Это послужило сигналом для доморощенных критиков, пустившихся разносить летопись уже прямо в клочья.

— Помилуйте, какая же это ученая работа? — горячился учитель гимназии из молодых историков. — Не летопись, а какая-то окрошка.

Другие подвергали сомнению существование самих материалов, с которых Антропов делал копии; третьи уверяли, что он, Антропов, сам ничего и не делал, а собирали за него эти материалы разные писаря, учительницы и маленькие служащие; одним словом, заварилась каша. «Молодые силы» так и напирали на старика, точно это был их злейший личный враг. Довершением всех злоключений было то, что на земском собрании было решено приостановить печатание опороченной летописи и передать этот вопрос на рассмотрение специалистов. Вообще получился какой-то скандал, и имя Антропова произносилось с какими-то подчеркиваниями, как говорят о героях разных хищений и скандальных процессов. Все это было возмутительно, и я, вернувшись из одной далекой поездки, отправился навестить кругом обиженного старика.

Антропов жил на краю города в собственном деревянном домике, построенном без всяких претензий, с той домовитой простотой,

которая резко бросается в глаза после столичных пятиэтажных каменных чудовищ. Что может быть лучше и уютнее такого маленького деревянного домика-особнячка со своим неизменным палисадником, мезонином, двориком, службами и своим огородом. Есть еще счастливые люди, которые могут жить в таких домиках, и Антропов принадлежал к их числу. Дверь мне отворил сам Антропов, высокий и плотный старик с типичным лицом. Он был в халате и с трубкой.

— Рад, очень рад... Милости просим,— торопливо повторял он. — Меня нынче как-то забывают, я боюсь признаться, что, может быть, даже избегают.

— Ничего подобного нет и не может быть, Федор Павлович...

— Да? Очень рад... Кстати, вы пришли вовремя: умирать собираюсь.

— Помилуйте...

— Нет, нет... Это уж так принято: поживет-поживет человек и вдруг — умрет. Знаете, на меня самое сильное впечатление произвела смерть Аристарха Иваныча... Мало ли я перехоронил на своем веку друзей и знакомых, а все как-то не производило того впечатления... Одним словом, нейдет он у меня с ума. А я еще все собирался с ним браниться за выставку... Ведь это он меня тогда втянул в экспоненты. Не следовало, голубчик, этого делать... Ни-ни!.. Хорошо, что я сам прихворнул и не мог быть тогда на выставке. Могло быть хуже... Знаете, на старости лет начали бы срамить в глаза — оно как будто и неловко. Ну да не стоит об этом говорить...

Старик ужасно суетился, все искал чего-то глазами и постоянно раскуривал гаснувшую трубку. Я не видал его года два, и за этот короткий срок Федор Павлыч сильно изменился. Цвет лица был зеленоватый, серые большие глаза смотрели с тревожной усталостью, в каждом движении чувствовалась какая-то связанность. Время от времени он подходил к двери и кричал: «Катя!.. Эй, Катя... Катька?!» Но из этих воплей ничего не получалось, и Федор Павлыч только махнул рукой, улыбаясь собственной доверчивости.

— Как есть никого в доме! — удивлялся он вслух. — И куда все запропастились? А этой Катьке необходимо отказать.

Принято думать, что обстановка характеризует человека, особенно человека профессионального. В данном случае этого решительно нельзя было сказать, кроме, разве, того, что отсутствовала всякая обстановка, как в доме, где много детей. Кабинет Федора Павлыча напоминал второй или третий день творения, — остальные дни остались невыполненными. В потолке, например, был вделан какой-то вычурный крюк для неосуществившейся лампы, в стене была устроена какая-то овальная ниша, напрасно ожидавшая собственного содержимого, столяр все забывал привесить оборванную дверку книжного шкафа, сам хозяин уже два года собирался переставить диван к другой стене, горничная Катя никак не могла добраться до густых слоев пыли, покрывавших все кабинетное мироздание, и т. д. и т. д. Мне, в сущности, очень нравится такой беспорядок, потому что так

надоели всевозможные обстановки, обстановочки и более или менее удачные подделки под оные.

— Катя?! Катька?! Я тебя убью... — взывал Федор Павлыч, размахивая чубуком, и добродушно прибавлял: — Вот полюбуйтесь, на что это похоже... да.

3

Наконец, после долгих отчаянных воплей и взываний хозяина, в дверях кабинета показалось хорошенькое девичье личико и сейчас же скрылось, и только потом явилась горничная Катя с двумя стаканами остывшего чая.

— Я рад, очень рад, что вы заглянули ко мне, — повторял старик, принимаясь жать мою руку. — Знаете, я скоро умру... да... Может быть, видимся в последний раз... Все это в порядке вещей, и в шестьдесят лет нельзя особенно огорчаться этим. Да... Но только жаль, что остается еще много недоконченного... хотелось бы еще поработать... Ведь жизнь так коротка, а мы ее тратим бог знает на что. Кстати, вы, конечно, читали те нападки, которые систематически печатаются против меня в губернских ведомостях?

— Не все, а кое-что читал... Я решительно не понимаю их...

— А я так отлично понимаю! О, как я их понимаю! И представьте себе, что ополчились на меня все люди хорошие, молодые, полные сил, которых я от души люблю. Прибавьте к этому еще то, что эти люди преследуют меня с самыми хорошими намерениями. И я опять

их люблю, как все молодое, полное сил, — одним словом, как можно любить только будущее. Говорю вполне искренно... И мне порой делается даже жаль их, потому что когда они поработают целую жизнь, как я, и когда на смену им явятся новые молодые люди и повторят с ними то, что сейчас они устраивают со мной, — повторяю, — мне их жаль. Да, они не понимают еще многого, что понимается слишком поздно, к сожалению... Что делать, жизнь каждого из нас есть только повторение чьей-то предшествовавшей ошибки.

Федор Павлыч все время ходил по комнате и на ходу отхлебывал свой чай. Мне понравилось его философское спокойствие, с каким он относился к своим молодым врагам.

— Катя?! Эй, Катя... Послушай, позови сюда Наташу. Что она прячется, как поповна на именинах...

В дверях появилась девушка-подросток в гимназической форме и сделала реверанс.

— Рекомендую, последняя отрасль... Наташа, принеси-ка сюда восемнадцатый век. Знаешь, там, на второй полке... Да смотри, пожалуйста, осторожнее, не разбей кипу.

Девушка с улыбкой исчезла.

— У меня все приготовлено на случай смерти, — объяснял Федор Павлыч деловым тоном. — Помилуйте, работал безданно-беспошлинно больше тридцати лет и привык к аккуратности. После меня как знают, — угодно будет ведомству напечатать или неугодно, а мое дело сделано. Да...

Наташа при помощи горничной едва при-

тащила целых два тюка материалов по истории цивилизации Энского уезда XVIII века.

— Merci, mademoiselle.

Федор Павлыч смахнул пыль с принесенных томов, осторожно их распаковал и принялся показывать заготовленные материалы, расположенные по годам.

— Вот это Петровский период, — объяснял он, откладывая в сторону целую кипу бумаг. — Энский уезд не остался без внимания великого преобразователя... да... А здесь материалы по пугачевщине, которая тоже коснулась Энского уезда, хотя и бочком. Здесь материалы по истории раскола... Есть интересные страницы... Я не пропускал ни одного документа, ценность которого сейчас трудно определить даже приблизительно. Обратите, пожалуйста, внимание, что почти все копии писаны моей рукой, а отчасти помогала Наташа. Между тем меня обвиняют в эксплуатации чужого труда...

Мне пришлось быть добровольцем понятым, и я постарался вполне добросовестно отнестись к своей обязанности. Впрочем, доказательства были налицо, и особенных доказательств не требовалось. Меня смущало только одно, что Федор Павлыч точно оправдывался.

— И приходится оправдываться, — ответил он на мое замечание с грустной улыбкой. — Да, виновен и не заслуживаю снисхождения... Помилуйте, разве человек, проработавший даром тридцать лет, не сумасшедший? Другие играли в карты, пьянствовали,

сплетничали, вообще безобразничали, а я собирал какие-то дурацкие материалы, да и собирал, не имея специальных знаний для этого и никаких командировок... сейчас ко мне все с требованиями: «Милостивый государь, а позвольте, не имея диплома историка, на каком вы основании взялись не за свое дело? Кто вас просил об этом?» Господа, да ведь я и не претендую ни на что, а только желал сохранить для благодарного потомства некоторые материалы, которые могли навсегда погибнуть... Одним словом, я являюсь в роли какого-то шарлатана для науки и шута горохового для современников. Конечно, виновен, кругом виновен...

Подмигнув, Федор Павлыч проговорил:

— А сводная-то летопись все-таки останется... хе-хе! Меня не будет, и страсти моих критиков улягутся. А, может быть, кто-нибудь и добрым словом помянет... Впрочем, я начинаю причитать, как нанятая плакальщица. Ну, это не в счет... Знаете, умнее всех нас был Минусов.

— Именно?

— Сорвалось, не повезло, и нужно уметь дать самому себе отставку. Не хочу я знать никого и ничего, кроме своей работы, которая наполняет мою жизнь и дает ей смысл. Понимаете, не хочу... Умный был человек, и я понял его вполне только после этой несчастной выставки.

Я часа два рассматривал «восемнадцатый век». Чего-чего только тут не было, напоминая в общем кучу осеннего палого листа, по которому гадательно приходилось восстанав-

ливать живую историческую зелень. Федор Павлыч заметно оживился.

— Вы не бывали у Минусова?

— Нет. Как-то неловко было навязываться на знакомство...

— Напрасно. Это был большой оригинал... Представьте себе, что его кабинет представлял собой архив. В нем лет двадцать ничего не убиралось, до пыли включительно... А ведь это был живой, остроумный, до высшей степени образованный человек. И пришлось похоронить себя заживо...

— Федор Павлыч, как вы втянулись в свою работу?

— А как пьяницы спиваются с кругу: от одной рюмочки. В результате получается уже настоящий форменный запой... Да и любопытно, говоря откровенно. Ведь с каждой страницы на вас глядит во все глаза живое прошлое... Все это снова переживаешь, чувствуешь и совершенно забываешь о настоящем. Если бы каждая губерния представила свою летопись — страшно подумать о таком материале, а русская история еще только напишется именно по такому материалу, собранному на месте действия. Наступит новая эра... Наша русская история писалась в столицах, по данным столичных архивов, писалась одним лицом, как Карамзин и Соловьев, но ведь это значило объять необъятное. Материалы еще только собираются... Может быть, я покажусь вам смешным и нелепым, но это так.

Федор Павлыч любил поговорить и сам увлекался своими мыслями. Закончил он неожиданно так:

— Знаете, у меня на душе лежит одна работа, которой я не успел кончить: это — подробное описание свадебных обрядов, песен и вообще всего свадебного ритуала. Знаете, это величайшее создание самобытного народного гения. Если бы мне удалось прожить еще лет пять, то... Нет, не удастся!..

Он подошел к простенку между двумя окнами и молча указал на три портрета, висевших рядом. Центр занимал портрет Минусова, слева был портрет Аристарха Иваныча, а справа его собственный.

— Видите, они повешаны были случайно... Теперь моя очередь. Да... И судьба у всех одна: работали всю жизнь и не были оценены современниками. Что делать, русский человек еще не привык ценить и относиться с уважением к чужому труду...

Я простился с Федором Павлычем без всякой мысли о том, что это была наша последняя встреча, но его предчувствие смерти скоро оправдалось...

НАШ МНОГОУВАЖАЕМЫЙ...

1

Подъезжая к незнакомому городу, я люблю составить себе воображаемую схему этого города согласно тем материалам, какие имеются в распоряжении, а потом проверить ее действительностью. В большинстве случаев воображаемый город совсем не походит на

существующий в действительности, что меня всегда огорчает. Приятным исключением в этом отношении явился для меня старинный исторический город Головань (изменяю название по некоторым соображениям личного характера), который мне давно хотелось посмотреть, но все как-то не удавалось за разными недосугами. Правда, что я немного знал этот город по фотографиям, а потом знал его историческое прошлое. Сейчас Головань являлся полузабытым обломком седой старины, превращенным в ненужный ни для кого административный пункт.

Уже с вокзала железной дороги (кстати, эта дорога окончательно добила город, вместо того чтобы поднять его значение, как предполагалось, потому что лишала всякого значения проходивший через Головань тракт, а затем оставила без работы сплавную реку Головню) город мне показался знакомым. Это совсем особенное чувство, когда кажется, что видел когда-то вот и этот полуразрушенный кремль, когда-то ходил по этим улицам, даже присутствовал на тех пожарах, которые периодически способствовали украшению города, — чувство полумистического характера. Я не мог отделаться от этого чувства, пока ехал на извозчике к знакомому моего знакомого, к которому имел рекомендательное письмо. Вот и этот собор я когда-то видел, когда он еще не составлял украшения городской площади, а был приперт со всех сторон тесной обывательской стройкой, почему и выгорал раз десять. Кое-где попадались еще кривые и узкие улички, видавшие еще татар-

ву и лихих людей тушинского вора. Да, тут пронеслась не одна бурная волна русской истории, и Головань возрождалась из пепла, для того чтобы снова превратиться в пепел от меча, огня и нашествия иноплеменных. Я положительно видел, как горели из конца в конец вот эти узкие улички, как неистовствовали здесь иноплеменные и свои лихие люди и как обагряли неповинной обывательской кровью каждый вершок вот этой исторической земли. Является невольный вопрос, для кого и для чего это было нужно? Но волна истории отхлынула, и Головань захудала и никак не может умереть в окончательной форме.

Знакомый моего знакомого жил именно в такой старинной кривой улочке, по неизвестной причине упиравшейся прямо в стену кремля. По сторонам сидели дома разных архитектурных эпох: помещичьи каменные дома, выстроенные «во вкусе», купеческие хоромины, чиновничьи бедненькие домики, а между ними втиснулась уже разная мещанская стройка, какая-то взъерошенная и неприветливая. Знакомый моего знакомого занимал квартиру в доме, совмещавшем три эпохи: низ сохранился еще от времен Тахтамыша и представлял собой грубую сводчатую кладку из чуть-чуть приспособленного для этой цели камня-дикаря (сейчас в этих исторических стенах помещался ренсковый погреб), второй этаж кирпичный, помещичьей архитектуры, когда-то украшенный фронтоном с колоннами в стиле «ампир», а третий, этот уже самый новый, деревянный, густо выкрашенный

зеленой краской, — в результате получался полукаменный дом мещанина Зеленина.

— Хочется мне посмотреть ваш город... — говорил я, когда мы по русскому обычаю сидели уже за самоваром. — Давно собирался, да все как-то не мог собраться.

У знакомого моего знакомого на лице изобразился вопросительный знак. Кстати, звали его Иваном Алексеевичем и по профессии он был земским человеком.

— У нас, посмотреть? — подумал Иван Алексеевич вслух. — Представьте, что решительно нечего смотреть... Ведь кремль вы видели? И собор на площади? Вот и все... Внутри кремля никакой старины нет, потому что все погибло в пожары, а остатки расхищены или поступили в музей.

— Неужели уже так ничего и не осталось?

— Решительно ничего... Даже совестно в этом признаться, но что поделаешь... Одно имя осталось... Есть, правда, чудотворная икона, но позднейшего происхождения, есть в соборе вериги какого-то схимника, потом посох какого-то чудотворца — и только.

— Немного... Может быть, в окрестностях что-нибудь...

— И в окрестностях ничего нет.

Иван Алексеевич даже немного сконфузился по этому поводу. Вдруг человек едет посмотреть на разную старину и вдруг ничего интересного нет. Но потом лицо Ивана Алексеевича просияло. Он что-то вспомнил.

— Вы с Сергеем Степанычем Бородковским не знакомы?

— Нет... Что-то такое читал. Вообще знакомая фамилия.

— Ах, помилуйте, да это же наша голованьская знаменитость. Он археолог и может вам рассказать все... Понимаете? Решительно все может рассказать... Самый уважаемый у нас человек. Мы к нему прямо и поедем. Старик будет рад...

Торопливая радость Ивана Алексеевича несколько задела меня, точно он хотел сбыть меня этому археологу. Но это подозрение исчезло, когда он заявил:

— И я с вами поеду вместе... Давно не видел старика. Он что-то нигде не показывается. По профессии он, собственно, врач, а в археологии любитель. Все бросил и занимается только своей археологией.

2

Бородковский жил сейчас за собором, в старинном двухэтажном домике, подъезд к которому зарос травой забвенья. Первое впечатление было чего-то нежилого и запустелого. Вдобавок и ворота оказались запертыми.

— Может быть, его нет дома, — сделал я предположение.

— Вот тебе раз! — изумился Иван Алексеевич. — Куда же ему деться? Конечно, дома.

На стук в калитку во втором этаже из-за косяка окна выглянуло чье-то лицо, видимо, наблюдавшее за нами, но не решившееся показаться.

— Сергей Степаныч, можно вас видеть? —

крикнул Иван Алексеевич, начиная терять терпение.

Окно осторожно приотворилось, и в нем еще более осторожно показалась седая старческая голова.

— Это вы, Иван Алексеевич? То-то, я смотрю, как будто знакомый человек...

— А я к вам гостя привез, Сергей Степаныч...

Старческая голова испытующе посмотрела на меня и ответила не вдруг.

— Милости просим...

Я теперь припомнил фамилию Бородковского и даже составленную им книжку по археологии голованьского края. Давеча у меня эта фамилия как-то совсем выпала из головы, а сейчас я сразу все припомнил, даже обложку книги и многознаменательную ремарку: «Головань, типография губернского земства». По мнению покойного Аристарха Иваныча, такая ремарка равнялась смертному приговору.

Послышался где-то визг давно не отворявшейся двери, потом шлепанье туфель, и наконец растворилась наша калитка. При слове «археолог» вообще представляется что-то особенное и необыкновенное, но наружность Бородковского превзошла все ожидания. Представьте себе сгорбленного старика, одетого в какую-то необыкновенную синюю рубаху, спускавшуюся ниже колен, — в таких рубахах иконописцы изображают иногда старинных русских угодников, — из-под рубахи виднелись шаровары необыкновенного цвета — не то табачного, не то Bismark furioso,

и туфли, напоминавшие по форме те древнерусские «ичиги», в каких доныне хоронят покойников по русским захолустьям. Когда Иван Алексеевич отрекомендовал меня, Бородковский добродушно улыбнулся и, протягивая руку, проговорил:

— А я, батенька, подумал, не казенный ли археолог приехал... Есть такие нынче су́дари, которые любят чужими руками жар загребать... Милости просим, господа!

Небольшой двор весь порос травой, какие-то домовые пристройки рушились — вообще привлекательного было немного. Опять завизжала несчастная дверь, и мы начали подниматься по ветхой деревянной лестнице во второй этаж, причем на ходу могли убедиться в профессиональных вкусах хозяина — на площадке были свалены в кучу кости мамонта, какие-то камни, черепа, деревянные орнаменты, какая-то проржавевшая до невозможности железная ломь и т. д. В передней едва можно было повернуться, так все было заставлено какими-то таинственными сундуками, деревянными образами, опять костями и какими-то разбитыми глиняными цилиндрической формы горшками, оказавшимися впоследствии старинными «голосниками», выломанными из стены какой-то старинной церкви. Небольшой зал, небольшая гостиная и большой кабинет представляли собой археологический институт после пожара. Не было свободного вершка, и археология поселилась здесь во всей своей неприкосновенности — археология в витринах, шкафах, на стенах, на подоконниках и просто археология на полу.

Картоны с нашитыми на них черепками, костями, каменными орудиями и доисторическими металлами составляли целую библиотеку. Но всего характернее был кабинет хозяина: по одну сторону письменного стола целая груда черепов, по другую — громадный камень пудов в двадцать весом, потом еще несколько камней, обломки глиняных горшков, кости, надгробный каменный крест и т. д. В глубине виднелись шкафы, набитые старинными книгами, рукописями, свитками, и опять камнями, черепками и разным другим хламом. Письменный стол тоже был завален черепками, камнями, сосудами и сосудцами, кипами бумаг и предметами, назначение которых трудно было отгадать. Чтобы присесть, пришлось отодвинуть каменный крест и несколько мамонтовых клыков. Одним словом, обстановка довольно импонирующая, до хозяина включительно, напоминавшего старинного голованьского чаровника и кудесника.

— У нас нет древностей? — заговорил Сергей Степаныч, когда я предательски пожаловался на Ивана Алексеевича. — Ха-ха! Вы посмотрите кругом — это только часть. А сколько лежит в подвале, в амбаре, на чердаке...

— Но ведь это доисторические предметы! — оправдывался Иван Алексеевич.

— Есть и исторические... Сколько угодно. Вот у меня целый шкаф с древнерусскими материями и шитьем, кокошники, женские украшения...

Поддерживать разговор со специалистами вообще довольно трудная вещь, а со специа-

листами-любителями в особенности. Иван Алексеич напрягал все усилия, чтобы хоть до некоторой степени попасть на высоту положения, и мне делалось немного совестно, что человек мучается прямо из-за меня. У меня, к счастью, нашлось несколько частных вопросов, касавшихся археологии, и я поспешил выручить знакомого моего знакомого.

— Видите ли, моя задача сейчас сводится к тому, чтобы доказать, что доисторическая культура территории домосковской Руси заимствована с далекого востока, вернее, — с северо-востока, — оживленно объяснял Сергей Степаныч. — И представьте, у меня в руках есть верное доказательство... да. Ясно как день. При раскопках часто встречаются украшения из янтаря, но янтарь-то красного цвета, какого нигде в Европе не встречается. Понимаете?.. Кажется, пустяки, а между тем в руках уже целая нить, по которой я и добрался... Да вот я вам сейчас покажу.

Мы имели удовольствие рассмотреть целую коллекцию доисторических янтарей и убедились, что между ними есть и красные.

— Может быть, они покраснели от долгого лежания в земле, — попробовал догадаться Иван Алексеич.

— Отчего же другие янтари остались желтыми? — почти обиделся Сергей Степаныч и торопливо спрятал свою коллекцию, точно глаза непосвященных могли ее оскорбить.

3

От красных янтарей мы каким-то удивительным образом переехали к древней иконописи. Предварительно были осмотрены ризы обронного (глубокая резьба по металлу), сканого (филигранное тож) и басменного (штампованные на тонких листах) дела, со всевозможными рясно, ожерельями, поднизями и цацами, а потом уже перешли к самым образам.

— Я вас попрошу, господа, на чердак, — предлагал любезный хозяин. — Собственно, у меня там отдел церковной археологии...

По узкой лестнице мы пробрались наверх, где был устроен мезонин, заваленный сейчас сплошь какой-то церковной утварью и образами старинного письма. Было тут и паникадило, и подсвечники, и колокола, и даже целые царские врата.

— Подлинниками не могу похвастать, — объяснял Сергей Степаныч, — но списки хорошие, и есть подозрение относительно некоторых, что они, кажется, оригиналы... Вот образ новгородского пошиба, а это два образа первого и второго строгановских писем... Тут фряжское письмо царских кормовых зографов... Обратите внимание... вот здесь... Видите, у Спаса на лбу из пробора выделяются два традиционных волоска? Потом, у ангелов, видите, за ушами вьются белые волоски? Это так называемые «слухи»... Но я дорожу особенно царскими вратами, на которых — вот посмотрите наверху — изображено таинство

причащения в двух видах, а не тайная вечеря, как нынче.

— Где вы могли достать такие редкости? — удивлялись мы от чистого сердца.

— Где? Да ведь на это положена была вся жизнь...

— А вы давно начали заниматься археологией? — спросил я.

— Да как сказать... не особенно... Всего лет сорок пять... Да, около этого... Я еще мальчишкой лазил по старинным колокольням, и все меня интересовало, а потом, гимназистом, я уже делал раскопки, потом... одним словом, вся жизнь ушла на это дело.

— Скажите, пожалуйста, вы имели какие-нибудь субсидии для этого?

— Я?! Боже меня сохрани... — обиделся Сергей Степаныч. — Все, что вы видите, собрано на личные средства, без всякой посторонней помощи. Даже совершенно наоборот: я со стороны видел только одни препятствия, и какие препятствия... Ведь в последнее время археология сделалась модной наукой и к ней примазались разные ловкачи... да. Давеча-то я даже испугался, когда вы подъехали... Ха-ха! Пуганая ворона куста боится... Представьте себе, какой со мной случай вышел. Приезжает ко мне нынешний модный казенный археолог — у него, конечно, и всякие открытые листы и рекомендации, и прогоны, и суточные, — да, приезжает. Ловкий такой молодой человек... «Вы, наш многоуважаемый Сергей Степаныч, не откажитесь принять участие в выставке, чем всех нас много обяжете — и графа Икс, и князя Зет, и баро-

нессу Игрек...» Понимаете, не говорит, а поет. Ну, признаться, я немного оказался разиней... Что же, думаю, дело подходящее. И давай все свои коллекции ворошить да систематизировать. Уж половина была запакована в ящики, как на счастье подвернулся один знакомый и говорит: «Что вы делаете, Сергей Степанович? Представите вы свои коллекции на выставку, а с вас и потребуют объяснения, на каком таком основании вы производили раскопки... Потребуют да и задержат у себя». Понимаете, куда оно пошло?

— Д-да... — ужаснулись мы в один голос.

— И ведь подбираются ко мне. И так и этак, но я даже ворота на запоре держу. Не отдамся живым...

— А если бы администрация заявила непременное желание приобрести ваши коллекции?

— Э, тогда я свалил бы все на барку, вывез по Головне в озеро и бросил все в воду. Не доставайся никому...

Эти разговоры, видимо, волновали и огорчали Сергея Степаныча, но он попал на свою зарубку и шел дальше.

— Да уже что говорить о модных археологах!.. По простоте души я некоторое время надеялся на городское самоуправление и на земство... Да, было... И что же? Я предлагаю им так: я пожертвую вам все свои коллекции, но с тем условием, чтобы вы выстроили для них особый музей, а затем чтобы я оставался до своей смерти хранителем и распорядителем этого музея. Кажется, немного? И пред-

ставляете себе: не принимают. Губернатор что-то имеет против меня...

Старик сделался грустным, припоминая обиды неблагодарных современников. Провожая нас, он, однако, вдруг повеселел и сообщил вполголоса, точно опасаясь, что могут подслушать его тайну самые стены:

— А я не унываю... Нет, не унываю! Пусть теснят, пусть пренебрегают, а я им покажу одну штучку... Вот, видите ли, у меня есть сын, он скоро кончает университет... да... Мальчик способный и серьезный. Прошлое лето он уже ездил в экспедицию... в устья Лены... да... то есть какая это экспедиция: на свои средства ездил. И, представьте, мальчик открыл там месторождение красного янтаря и привез мне образцы. Теперь уже не может быть сомнения, но пока это секрет. Да... Я им всем покажу «нашего многоуважаемого Сергея Степаныча»! Меня не будет — сын останется... да.

Мы ушли от почтенного старца в грустном настроении. Я невольно припомнил других излюбленных провинциальных людей, а Иван Алексеевич встряхивал головой и наконец проговорил:

— И сын такой же будет... Должно быть, это в крови. Вообще, очень почтенный старик, и где-нибудь в другом, более культурном государстве, он составлял бы гордость соотечественников.

МЕЩАНИН МОТЫЛЕВ

1

...Перед маленьким домиком, на воротах которого была прибита большая вывеска: «Типография Мотылева и контора редакции «Пропадинского Курьера» толпились кучки любопытных. Даже сеявший вторую неделю назойливый осенний мелкий дождь не мог охладить этого стадного внимания. Впрочем, сегодня толпа была права: хоронили Мотылева, Никандра Мотылева, которого знал не только весь Пропадинск, но и вся губерния. Он умер скоропостижно, как было оповещено в газете, но это было неверно, он умирал уже давно, но не хотел поддаваться болезням и умер буквально на ходу. Толпа в большом масштабе почти всегда справедлива, у нее является какое-то массовое чутье, и теперь слышались такие рассуждения:

— Не такой человек, чтобы лежать... Ну, и сгорел на работе.

— Себя не жалел, вот главная причина.

Какой-то сгорбленный седой старик показал палкой на окно и проговорил:

— Заступа наша померла, вот как надо сказать-то. Никого не боялся Лекандра Семеныч. С губернатором разговаривал... Своими глазами видел: губернатор говорит, и Лекандра Семеныч говорит.

Толпа все росла. Кроме случайных зевак начали появляться люди, которые пришли со

специальной целью «проводить Мотылева». Большинство были мещане, мелкие торгующие, мастеровые — одним словом, люди, которым приходилось иметь дело с Мотылевым, когда он служил в мещанской управе, потом в Думе и, наконец, «состоял в земстве». Для всех этих людей в Мотылеве умер свой родной человек, знавший вдоль и поперек, где и как болит у маленького безответного человека.

— Это его газетина извела, — резонировал кто-то в толпе. — Ни днем ни ночью с ней не знал покою... Вот и уходился.

— А не газетина, так другое бы выискал. Такому-то орлу не сидеть на одном месте.

— Теперь все дыхнут спокойно: и голова, и управа, и купцы. Некому будет их теснить.

— А Черноризцев остался — он ту же линию поведет.

— Повести-то поведет, да толку от этого не будет: у Черноризцева душа будет малым делом покороче. Правильный человек, а дерзости настоящей, как у Лекандры Семеныча, и нет.

— Куда ему! Одним словом, белоручка... А Лекандра-то Семеныч и на коне, и под конем бывал. Сам жил и других ущитит в лучшем виде.

Именно в этот момент Черноризцев, низенький и плотный господин, пробирался сквозь толпу и слышал от слова до слова выданную ему характеристику. «Короткая душа» его немного задела, и он оглянулся на говорившего — это был какой-то мещанин в пиджаке и картузе, которого он видел в пер-

вый раз. Впрочем, это было мимолетное ощущение, сейчас же исчезнувшее. Черноризцева узнали и пропустили в калитку — парадное крыльцо по-провинциальному выходило во двор, и перед ним стояли похоронные дроги. На крыльце Черноризцева встретила жена Мотылева, худощавая высокая женщина с каким-то покорным лицом, — это последнее выражение как-то особенно теперь шло и к моменту, и к ее траурному платью, и ко всей печальной обстановке.

— Все готово, Анна Даниловна? — для чего-то спросил Черноризцев, пожимая ей руку.

— Да, все... Священника ждем.

— Не нужно ли вам что-нибудь?

— Нет, благодарю... Все есть. Наборщики все устроили... Стараются.

Около вдовы жались мальчик лет одиннадцати в гимназическом мундире и девочка лет пятнадцати в гимназической форме. Это были «начинающие сироты», как определил их про себя Черноризцев и молча погладил по голове мальчика, походившего на отца как две капли воды. Да, скверно... Если бы Мотылев подождал умирать лет десять — совсем бы другое вышло. Малы детки, всего напринимаются в сиротстве... У него невольно сжалось сердце, когда он вспомнил про свою дочь, совсем еще маленькую девочку, и мысленно проговорил глупую фразу: «Все люди смертны».

Покойник лежал в зале, которая заменяла редакционную комнату. Сейчас она пока-

залась Черноризцеву и меньше, и теснее, хотя он бывал здесь ежедневно.

— Пожалуйте сюда, Аркадий Яковлич... — шепотом пригласил его типографский фактор. — А здесь очень много народу набралось.

— Это, вероятно, все родственники?

— Да, у нашего брата, мещан, родни — до Москвы не перевешаешь... От бедности плодятся. Пожалуйте в кабинет...

В кабинете сидели почтенные лица: фельетонист «Курьера» Аполлон Сорокин, белокурый, молчаливый и желчный субъект, мещанский староста Губкин, дальний родственник Мотылева, член земской управы Чернышев, корректор Ольхин, учитель гимназии Барышев, сотрудничавший в «Курьере» потихоньку от начальства, бухгалтер городского банка Щелковский и еще несколько человек, незнакомых Черноризцеву. Он в качестве редактора являлся здесь самым почетным гостем, что его сейчас очень смущало. Пожалуйте, господа, что за церемонии... У всех у нас один редактор — смерть. Все разом заговорили на тему о смерти, причем считали необходимым вздыхать и делать грустные лица.

— Жить бы надо Никандру-то Семенычу, — как-то обиженно заявил мещанский староста. — Какой человек-то был... да...

Все чувствовали себя неловко и вздохнули свободнее, когда в дверях показался отец Антоний, чахоточный, зеленый, умиравший лет тридцать. Он неловко здоровался со всеми, чувствуя, что каждый думает: «Тебе бы, отец Антоний, помереть вместо Мотылева».

Показалась в дверях голова отца дьякона и скрылась — отец дьякон боялся почему-то Черноризцева, как сочинителя.

К выносу тела в комнатах образовалась настоящая давка. Неподвижность покойника производила удручающий контраст. Черноризцев подошел к гробу и посмотрел на него в последний раз, то есть в последний раз в этой домашней обстановке, в этих стенах, где еще недавно раздавался его голос, слышались шаги, легкое покашливание и где проходила вся трудовая жизнь изо дня в день. Смерть мало изменила лицо Мотылева, еще не старое, обрамленное небольшой белокурой бородкой. Вот и этот красиво вылепленный лоб, и мягкий русский нос, и твердо сложенные губы — Мотылев улыбался чрезвычайно редко, и чувствовалось какое-то усталое выражение в преждевременных морщинах на лбу и вокруг глаз. Черноризцева удивило, что волосы на макушке у Мотылева совсем уже поредели, — он этого не замечал раньше.

— Добре потрудивыйся... — заметил отец Антоний, торопливо надевая ризу, — он все делал торопливо.

— Да... — ответил Черноризцев. — Было поработано.

— Поторопился Никандра Семеныч.

Подошла вдова с детьми. Она, видимо, ничего больше не слышала и не замечала, поглощенная мыслью, что сейчас его унесут из родного гнезда и никогда он не вернется в него. Дети жались к ней. У девочки лицо было заплакано, а мальчик еще плохо понимал, что происходит кругом. Вид сирот опять про-

извел тяжелое впечатление на Черноризцева. Он один знал, что покойный решительно ничего не оставил семье, кроме долгов, — и дом, и типография, и разное имущество было опутано целой сетью мелких, средних и больших долгов. Уже теперь, наверное, все кредиторы насторожились и ждут только удобного момента, чтобы в клочья разнести жалкие остатки никогда не существовавших мотылевских богатств. Кредиторы — это последний акт жалкой комедии, которая называется жизнью. А сколько раз Черноризцев советовал Мотылеву позаботиться о семье и не увлекаться разными предприятиями.

— Вы это относительно денег, Аркадий Яковлевич? — удивлялся каждый раз Мотылев. — Помилуйте, самое пустое дело... Вот только немного управлюсь с обстоятельствами и живой рукой капитал наживу.

Мотылев действительно несколько раз наживал капитал и потом разорялся. Он относился к этому философски и так же смотрела жена. Последним «обстоятельством» была своя газета, которая не столько поглощала, сколько отнимала у Мотылева все свободное время.

— Вот ужо газета пойдет, тогда и своими делами займемся, — повторял Мотылев, по-мещански встряхивая головой. — Деньги дело наживное...

Но время шло, а Мотылев все сильнее и сильнее затягивался в газетное дело и все меньше занимался теми предприятиями, которые давали ему раньше средства.

Все эти мысли промелькнули в голове

Черноризцева, как ночные птицы. Вот уже дьякон сделал возглас, послышалось стройное пение хора певчих... Фельетонист Сорокин неистово крутил свою козлиную бородку, чувствуя, как у него слезы подступают к горлу. А вот гроб точно сам собой поднялся кверху и, покачиваясь, медленно поплыл к выходной двери.

2

Дождь продолжал идти с прежней назойливостью. Публика шлепала по грязи немощеной улицы. Процессия растянулась. В воздухе периодически поднималась волна грустного похоронного мотива. До приходской церкви, где должно было происходить отпевание, нужно было пройти больше версты. У Черноризцева явилась предательская мысль сесть на своего извозчика и уехать вперед, но ведь другие шли, и ему сделалось совестно уехать одному. Рядом с ним шагал мещанский староста Губкин, напрасно стараясь выбирать места посуше; он подтягивал певчим и несколько раз повторил:

— Эка грязь, господи... В третьем году вон там, в ложке, целая почта утонула. Едва бастрыгами добыли... Никандр-то Семеныч уж как достигал эту грязь, а ничего не мог поделать. Бог веку не дал, а то бы достиг...

— Вы думаете? — машинально спрашивал Черноризцев.

— Беспременно... Такой уж был человек.

У всякой толпы есть своя физиономия и свой характер. Черноризцев, вглядываясь в

провожающих Мотылева, определил ее мещанской, а он с Сорокиным, Барышевым, Щелковским и Чернышевым представляли исключение, вернее, — чужих людей. Они портили своим присутствием картину: это свои провожали своего. Ведь вот эта среда выдвинула Мотылева, он оставался в ней «родовичем» и до конца сохранял кровную связь. Как давеча хорошо кто-то сказал, назвав покойного «заступой». Да, Мотылев и был заступой, отстаивая всю жизнь мирской интерес, для которого забывал о самом себе. В сущности, Черноризцев только сейчас понял, что такое был Мотылев, понял именно благодаря провожавшей его мещанской толпе, дававшей ему неиссякавший запас энергии. Тут была кровная органическая связь, и Мотылев шел только в голове, в чем даже не было особенной заслуги: не он, так другой. Будет и другой Мотылев, потому что невозможно без заступы.

Всякая смерть наводит на философские размышления, а особенно смерть близкого человека. В самом деле, что такое мещанин Мотылев? Человек целую жизнь трудился, хлопотал, волновался, рассчитывал, и вдруг нет мещанина Мотылева... В «Курьере» прочитают его некролог, а потом забудут, точно его никогда и на свете не существовало. Какой-нибудь летописец города Пропадинска занесет в свои анналы, что была-де типография мещанина Мотылева, издававшего (?) первую газету, — и только. От этих мыслей Черноризцеву делалось и жутко, и обидно, как от всякой несправедливости. Ему хоте-

лось даже крикнуть этому будущему летописцу: «Летописец, ведь мещанин Мотылев — сила...»

— Да, да, сила... — вслух думал он, едва вытаскивая ноги из грязи. — Сила почвенная, органическая, а не то что мы...

Ему сейчас вспомнилась кольнувшая его давеча характеристика: «Короткая душа». Что же, в сущности, ведь совершенно верно... И очень метко сказано. По ассоциации идей он начал думать о себе, стараясь смерить самого себя мещанином Мотылевым. Да, он, Черноризцев, был таким маленьким человеком, из разряда тех, которые гордятся своей порядочностью. Маленького Аркашу воспитывали дома, потом в гимназии, потом в университете — каждый успех был куплен дорогой ценой. А маленький мещанин Мотылев в эти годы уже добывал хлеб насущный, помогал отцу и с головой ушел в деловой мир живых людей, живых отношений и еще более живых злоб своего тревожного мещанского дня. Аркаша Черноризцев всю жизнь катался по рельсам, проложенным задолго до него, а мещанин Мотылев тащился проселками, через великие грязи и темные леса. И все-таки в конце концов они встретились.

Сейчас Черноризцеву было немного совестно вспоминать об этой первой встрече, и он начинал чувствовать себя виноватым.

Был зимний вечер. В квартире Черноризцева всегда царил уютный комфорт, а в зимнюю погоду это особенно чувствовалось — там сейчас за стеной и холод, и ветер, и темь, а тут и тепло, и светло, и уютно. Чернориз-

цев сидел у себя в кабинете и занимался. Эти вечерние занятия он ставил себе в особенную заслугу, потому что другие в это время бездельничали, играли в карты и просто убивали время. Если что-нибудь нарушало заведенный порядок, Черноризцев считал себя вправе сердиться. Прислуга знала характер барина и не допускала по возможности в эти часы никого незнакомого. Но именно в этот суровый зимний вечер горничная Агаша осторожно покашляла у дверей кабинета.

— Что вам нужно, Агаша?

— Барин, там какой-то человек в кухне...

— Ну? Ведь вы знаете, Агаша, что я занят...

— Я говорила... Он беспременно желает вас видеть по какому-то делу. Очень, грит, нужно... Он не пьяный, барин, а просто мужчина средних лет, и в спинджаке, в том роде, как прасол.

Слово «нужно» решило дело, потому что в качестве корректного человека Черноризцев преклонялся пред ним.

Через минуту в кабинет вошел Мотылев. На первый раз он произвел на Черноризцева невыгодное впечатление, тем более что он смутно припомнил, что недавно слышал эту фамилию: или какой-то Мотылев кого-то обокрал, или какого-то Мотылева за что-то судили в окружном суде — одним словом, что-то в этом роде. Впрочем, нежданный гость держал себя просто и непринужденно.

— Чем могу вам служить? — сухо спросил Черноризцев.

— Видите ли, Аркадий Яковлевич, дело совсем особенное...— замялся немного гость.

— Именно? Я человек занятой, и, извините, мне некогда...

— Я сейчас... Видите ли, Аркадий Яковлевич, я хочу издавать газету...

— Вы?!

— Да, я-с...

— Для чего же вам нужна газета?

— Как для чего, Аркадий Яковлевич? Ведь газета нужна... И я пришел посоветоваться с вами и попросить вас, не согласитесь ли вы быть редактором...

Оборот получился совершенно неожиданный.

— Почему же вы обратились именно ко мне? — спросил Черноризцев, подозрительно оглядывая странного гостя.

— Да так... Вы-то меня не знаете, а мы вас очень хорошо знаем, Аркадий Яковлевич. В самый раз вам быть редактором... Уж вы извините за смелость, что беспокою вас, а только дело-то совсем особенное.

Это был интересный разговор во всех отношениях. В первый момент Черноризцев отнесся к Мотылеву очень недоверчиво, а потом этот неизвестный человек овладевал им в течение двух часов и овладел. Мещанин Мотылев изложил подробную программу предполагаемой газеты и наметил содержание на несколько лет вперед.

— Аркадий Яковлевич, ведь газета — все! — восторженно повторял Мотылев. — Вот мы сидим у вас в кабинете, погасите лампу — то же самое и без газеты. Сейчас у нас в

думе купеческая партия всем заправляет, а господа дельцы учат, как всякий закон обойти. Ведь это каменная стена, через которую и не перелезешь, а тут в газете и разоблачим начистоту. Все дело будет как на ладонке. Тоже и в других частях...

Мысль о своей газете несколько раз приходила в голову Черноризцеву, но она осталась в области несбыточных мечтаний. Как да что, да где найти людей, да откуда взять средства и т. д. Для мещанина Мотылева подобных вопросов не существовало. Только бы открыть газету, а там все будет.

— Виноват, я позволю себе нескромный вопрос,— заметил в конце первого же совещания Черноризцев.— У вас есть средства?

— То есть в каком смысле средства? — удивился Мотылев.

— Да ведь для газеты нужны, во-первых, деньги, во-вторых, деньги, и, в-третьих, деньги...

— Ах, вы вот про что, Аркадий Яковлевич...

Мотылев даже улыбнулся и тихо прибавил:

— Будьте спокойны, все будет. Лично у меня ничего нет, но на дело добудем...

Черноризцев, как большинство интеллигентных людей, боялся так называемых практических расчетов, потому что всегда жил на готовое. Ведь рассчитывают, соображают и рискуют купцы, промышленники и вообще люди, которые не получили от родителей приличного состояния, а сами не могут заработать приличного жалованья. У Черноризцева

оставалось какое-то смутное недоверие к этим людям, и он был убежден, что они только тем и живут, что обманывают друг друга. И вдруг такой именно человек сейчас сидит у него в кабинете.

— Я считаю своим долгом предупредить вас, что никаких обязательств денежного характера я не могу обещать. Мои личные средства принадлежат целиком моим детям...

— Помилуйте, Аркадий Яковлевич... Уж это не коснется вас.

Черноризцеву показалось, что мещанин Мотылев посмотрел на него с сожалением.

Закончился этот первый разговор уже совсем бестактным вопросом со стороны хозяина.

— Простите, еще один нескромный вопрос: ваша фамилия мне знакома... может быть, я ошибаюсь... вы судились недавно?

— Да, да... И не один раз, Аркадий Яковлевич. Как-нибудь от свободности расскажу... Судился три раза и оправдан. Наше такое дело, что постоянно ушки на макушке...

С этого знаменательного вечера прошло целых десять лет совместной работы по газете, и Черноризцев никак не мог избавиться от какого-то органического чувства недоверия к своему компаньону, в чем так сейчас раскаивался.

Да, целых десять лет... Шагая сейчас за гробом, Черноризцев опять проходил этот длинный и превратный путь. Сколько раз у него опускались руки, и сколько раз выручал его мещанин Мотылев, выручал своей непоколебимой верой в дело, своей неистощимой

энергией, а главное простотой. У него все выходило как-то необыкновенно просто. Сказал и сделал, взял и сделал... Ни сомнений и оглядываний, ни разочарований. А потом, сколько было в нем деликатности... Последнее знал только он, Черноризцев, а все остальные видели в Мотылеве беспокойного человека, который не останавливался ни перед чем. Кому он не насолил в Пропадинске? Сколько раз его судили, теперь уже за газету? И никогда ни одной жалобы, ни одной минуты сомнения... Да, это был типичный мирской человек, являвшийся полным противовесом развинченным интеллигентным людям.

Дождь продолжал идти. До церкви процессия добралась только через час. Черноризцев остановился у высокой паперти и смотрел, как гроб поднимался по ступенькам все выше и выше. У него что-то сдавило горло, и он отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Боже мой, как следовало беречь этого человека! — думал он, обвиняя себя в эгоизме.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗВЕНО В ЦЕПИ

[1] Дело. — 1883. — № 11. — Отд. 2. — С. 2.

[2] Записная книжка Д. Н. Мамина-Сибиряка. ЦГАЛИ, ф. 316, оп. 2, ед. хр. 6, л. 40 об.

[3] Архив В. А. Гольцева. — М., 1914. — С. 304.

[4] О Д. Д. Смышляеве см.: Некрологи в «Историческом вестнике». — 1894. — № 3; Пермские губ. ведомости. — 1893. — № 92—93; очерк А. Дмитриева. Дмитрий Дмитриевич Смышляев. — Пермь, 1895; А. Солодовникова. Дмитрий Дмитриевич Смышляев // Пермские губ. ведомости. — 1909. — № 68.

[5] См. ЦГАОР, ф. 109, ед. хр. 148/1861; Там же, ед. хр. 87/1862.

[6] ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 9. На л. 191 докладной записки Министерства внутренних дел на имя Главного начальника III отделения говорится: «...Смышляев проживал до последнего своего отъезда за границу долгое время в Перми, отличался всегда ультралиберальным образом мыслей и быв с большими денежными средствами, во время своих поездок за границу приобретал все издания Герцена и другие сочинения, направленные против России, которые привозил в Пермь и давал читать своим знакомым, к числу которых должны быть отнесены все бывшие в то время посетители библиотеки для Чтения Иконникова». Видимо, Смышляев, действительно, имел сочинения Герцена, однако за границей он не был с 1851 по 1861 год. В этом же деле есть справка о том, что Смышляев пересек границу в Вержболово 8 апреля 1861 года.

[7] Мордовцев Д. Л. Десятилетие земства // Отеч. зап. — 1876. — № 1.

[8] Шашков С. Пермское земство // Дело. — 1879. — № 1—2.

[9] Об этом см. в очерке А. Солодовниковой // Перм. губ. вед. — 1909. — № 68.

[10] Перм. губ. вед. — 1893. — № 93.

[11] См. примечания к очерку «Излюбленные люди».

[12] Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. — М., 1979. — Т. 16. — С. 236.

[13] Записки УОЛЕ. — Екатеринбург, 1888. — Т. 10, в. 1.

[14] Там же.

[15] О В. Н. Шишонко см.: Курочкин Ю. М. Книжные встречи. — М., 1981. — С. 112—122.

[16] Мамин-Сибиряк Д. Н. Некролог В. Н. Шишонко // Деловой корреспондент. — 1889. — № 205.

[17] Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 12 т. — Свердловск, 1951. — Т. 12. — С. 296.

[18] О Теплоуховых см.: Бейлин И. Г., Паркес В. К., Теплоухов А. Е. — М., 1969.

[19] ЦГАЛИ, ф. 316, оп. 1, ед. хр. 38, л. 5—6.

[20] Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 3. — С. 488.

ИМЕНИННИК

Впервые в «Наблюдателе». — 1888. — № 1—4. Печатается по тексту книги: Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 12 т. — Свердловск: ОТИЗ, 1949. — Т. 4. — С. 213—334.

С. 33. *Мохов* — так названа писателем Пермь.

С. 33. *Земское собрание, земство* — выборное местное самоуправление.

С. 33. *Школа кантонистов* — учебное заведение для детей военнослужащих низших чинов.

С. 34. *Голик* — березовый веник без листьев.

С. 34. *Гарус (гарусный)* — род мягкой крученой шерстяной пряжи.

С. 35. *Гласные* — члены земства с правом голоса.

С. 35. *Акцизный генерал* — чиновник акцизного управления по сбору налога на товары широкого потребления (соль, сахар, табак, спички, спиртные напитки).

С. 37. *Стан* — в царской России: административно-полицейское подразделение; становой пристав — начальник стана в уезде.

С. 37. *Казенная палата* — губернское учреждение, ведающее финансовыми делами губернии, государственным имуществом, винными откупами и т. п.

С. 37. *Протопоп* — старший священник.

С. 38. *Поярковая* — от поярок — шерсть первой стрижки от ягненка.

С. 42. *«Непонятной и странной любовью»* — искаженная строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина»: «Люблю отчизну я, но странною любовью».

С. 43. *Карц, карцер* — помещение для временного одиночного заключения лиц, провинившихся в чем-нибудь.

С. 43. *Лежала на покое* — покоем называлось специальное место в избе для отдыха.

С. 44. *Олеография* — способ многокрасочной литографии с картины, писанной масляными красками.

С. 51. *Дьякон* — помощник священника при совершении церковной службы; *протодьякон* — старший дьякон.

С. 51. *Прасол* — оптовый скупщик скота и разных припасов (мяса, рыбы) для перепродажи.

С. 52. *Мускус (мускусный)* — сильно пахнущее вещество, вырабатываемое железами самца кабарги и некоторых других животных.

С. 52. *Ладан* — ароматическая смола, употребляемая для курения при богослужении.

С. 53. *Цесарка* — птица из семейства куриных.

С. 53. *«Сорока»* — женский головной убор.

С. 54. *Вексель* — письменное обязательство уплатить кому-нибудь определенную сумму денег в определенный срок.

С. 55. *Иконостас* — покрытая иконами стена.

С. 57. *Книжки гражданской печати* — в противоположность духовной, церковной печати.

С. 63. *Сило́м* — силой, насильно (диалект).

С. 63. *В мешке обвенчаю* — т. е. одним махом, моментально (диалект).

С. 67. *Сажинский дом.* Прототипом П. В. Сажина является пермский общественный деятель, издатель и краевед Д. Д. Смышляев. Его дом в Перми находился на бывшей Сибирской улице (сейчас улица Карла Маркса, дом занимает городская библиотека им. А. С. Пушкина).

С. 72. *Партикулярный человек* — частное лицо.

С. 75. *Экзальтация* — восторженно-возбужденное состояние.

С. 78. *Консистория* — учреждение по церковным делам.

С. 80. *Псалтырь* — часть библии, книга псалмов; *псалом* — род религиозного песнопения.

С. 87. *Грёзовская головка* — т. е. напоминающая слащавые изображения женских и детских головок кисти французского живописца Жана Батиста Грёза (1725—1805).

С. 90. *Серая осенняя пара* — так именовался тогда фрак или сюртук с брюками.

С. 92. *Канаус, канаусовая* — плотная шелковая ткань.

С. 94. *Эмансипация... прострация... аккомодация* — набор созвучных, но далеких по смыслу слов.

С. 96. *Овин* — строение для сушки хлеба в снопах с ямой для топки, дым из которой заполняет весь овин.

С. 96. *Кринолин* — широкая юбка колоколом на тонких обручах.

С. 97. *Санкюлоты* — название патриотов, революционеров периода Великой французской революции.

С. 97. *Базаров* — герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

С. 99. *Действительный статский советник* — в царской России гражданский чин 4-го класса, который давал потомственное дворянство. Лица, его имевшие, занимали высокие должности (директор департамента, губернатор).

С. 106. *Метр, метресса* — почтительное название человека выдающихся дарований. Здесь в ироническом смысле.

С. 108. *Гривенка* — подвеска у икон, украшение; *приворотная гривенка* — способная очаровывать, привораживать.

С. 112. *Софизм* — формально кажущееся правильным,

но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений; *софист* — человек, который в своих рассуждениях прибегает к софизмам.

С. 113. *Крещение* — один из православных церковных праздников, отмечаемый верующими 6(19) января церемонией освящения воды.

С. 114. *Обедня (литургия)* — христианское богослужение, во время которого совершается причащение. Литургия включает чтение отрывков из библии, песнопения, молитвы.

С. 114. *Молебен* — краткое богослужение (о здравии, благополучии и т. д.).

С. 115. *Паллиатив* — мера, не обеспечивающая полного решения какой-либо задачи; полумера.

С. 118. *Давеча* — не так давно, но сегодня же (диалект).

С. 121. *Фребелевская система воспитания* — по имени немецкого педагога Фридриха Фребеля (1782—1852), разработавшего систему дошкольного воспитания в детском саду и основы методики работы в нем.

С. 121. *Бурса* — название духовного училища.

С. 122. *Блазнить* — чудиться, казаться, мерещиться (диалект).

С. 123. *Великий пост* — период (7 недель перед пасхой), в течение которого христианская церковь предписывает верующим воздержание от скоромной пищи, запрещает участие в увеселениях, вступление в брак, требует ряда других ограничений.

С 126. *Ботвиньица* — холодная похлебка на квасу из отварной ботвы, лука, огурцов, рыбы.

С. 126. *Петровки* — день святого Петра, обычно бывает в середине июля.

С. 129. *Волостной писарь* — писарь при волостном правлении — органе местного крестьянского самоуправления. Здесь: волостные писари — ничтожные, не заслуживающие внимания люди.

С. 131. *Кейф* — приятное безделье и отдых.

С. 147. *Люстриновая ряска* — из полушерстяной или шерстяной ткани с глянцем.

С. 147. *Бокль Генри Томас* (1821—1862) — английский историк и социолог.

С. 150. *Иезуит* — католический монах, член так называемого «Общества Иисуса», являвшегося в то время одной из самых реакционных воинствующих организаций католической церкви. В переносном смысле — хитрый, двуличный, коварный человек.

С. 155. *Делая вольт своею тростью* — т. е. знак V.

С. 163. *Одетая в амазонку* — женское длинное платье для верховой езды.

С. 168. *Курц-галоп* — ход лошади прыжком, когда она с дыбков выкидывает обе передние ноги разом.

С. 171. *Безешки* — уменьшительное от «безе» — пирожное из взбитых яичных белков и сахара.

С. 171. *Моховский Гамбетт* — искаженное Гамбетта Леон-Мишель (1838—1882), известный французский политический деятель.

С. 174. *Пароксизм* — сильный приступ, припадок (болезни, чувства).

С. 175. *Схимник* — монах, принявший схиму, т. е. высшую монашескую степень, требующую от посвященного выполнения суровых аскетических правил.

С. 175. *Зачичереветь* — зачахнуть, захиреть, засидеться в девках (диалект).

С. 177. *Кацея* — от чешского «кацати» — брызгать водой; жаровня с ручками (делалась глиняная, каменная, железная, медная и серебряная), использовалась в церкви как кропильная чаша. Здесь: кадило.

С. 180. *Лéстовка* — у раскольников (староверов) — нитка бус или ремень с узлами для счета молитв и поклонов.

С. 192. *Статуи Кановы* — Антоний Канова (1757—1822) — итальянский скульптор, получивший известность своими статуями («Амур и Психея», «Венера» и др.) и эффектными надгробиями.

С. 192. *Ташкентская выставка Верещагина* — речь идет о Туркестанской комплексной выставке В. В. Верещагина (1842—1904) 1869 года, на которой экспонировались некоторые картины художни-

ка из туркестанской серии («Опиумоеды», «Варвары», «Забытый» и др.).

С. 192. *Джон Стюарт Милль* (1806—1873) — английский философ, экономист и общественный деятель.

С. 193. *Молешотт Якоб* (1822—1893) — немецкий физиолог и философ. Его биохимические исследования сыграли значительную роль в развитии физиологической химии.

С. 194. *«Пятница»* — персонаж романа Д. Дефо «Робинзон Крузо».

С. 199. *Моветоны* — люди с дурным вкусом, невоспитанные.

С. 203. *Позументы* — тесемки, обычно шитые золотом или серебром, галуны.

С. 204. *Анахорет* — отшельник, живущий в уединении, избегая людей.

С. 208. *Мизантропия* — нелюбовь, ненависть к людям, отчуждение от них.

С. 217. *Курсистка-бестужевка* — учащаяся или выпускница Петербургских женских Бестужевских курсов, обучавших по университетской программе.

С. 227. *Эвклид (Евклид)* — древнегреческий математик III века до нашей эры, оказал огромное влияние на развитие математики.

С. 236. *Повытчик* — столоначальник.

С. 240. *Дуэнья* — в прошлом в Испании — пожилая женщина, наблюдавшая за поведением девушки или молодой женщины-дворянки и всюду ее сопровождавшая.

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ ЛЮДИ

С. 262. *Матрикул* — свидетельство, удостоверение.

С. 265. *Пятины* — административно - территориальные области в Новгородской земле.

С. 270. *Заручные записи* — всякого рода прошения, подписанные кем-то. В Кирилло-Белозерском монастыре таких записей сохранилось много.

С. 271. *Архипастырское благословение архиерея* — благословение высшего церковного чина.
С. 274. *Потрафить* — угодить.
С. 274. *Смотритель училища* — должностное лицо, выполняющее хозяйственно-административные обязанности.
С. 275. *Откупщик* — лицо, приобретшее у государства за определенную плату право продажи некоторых товаров (соли, вина и др.).
С. 275. *Попечитель* — в царской России: звание руководителя некоторых учреждений.
С. 276. *Санскрит* — литературно обработанная разновидность древне-индийского языка индоевропейской языковой группы.
С. 285. *Карамзин Н. М.* (1766—1826) — русский писатель и историк, автор «Истории государства Российского» (Т. 1—12).
С. 285. *Соловьев С. М.* (1820—1879) — русский историк, автор «Истории России с древнейших времен» (Т. 1—29).
С. 288. *«Тушинский вор»* — так называли Лжедмитрия II, который в 1608—1609 годах создал Тушинский лагерь под Москвой, откуда безуспешно пытался захватить столицу.
С. 288. *Тахтамыш* — золотоордынский хан Тохтамыш, правивший в 1380—1395 годах.
С. 288. *Ренсковый погреб* — винный погреб (от нем. рейнвейн).
С. 288. *Стиль «ампир»* — архитектурный стиль начала XIX в., отличающийся парадным великолепием, богатым декором, монументальностью форм.
С. 292. *Ичиги* — комнатные сапожки без подошв.
С. 292. *Голосники* — пустоты в стенах церквей, создаваемые для улучшения акустики, для «отголоска».
С. 295. *Рясно* — ожерелье, подвеска.
С. 295. *Поднизь* — жемчужная или бисерная сетка, бахромка.
С. 295. *Цаца, цацка* — детская игрушка, прикраса.
С. 302. *Типографский фактор* — распорядитель всеми работами в типографии.
С. 305. *Бастрыг* — шест, рычаг, которым сено и солома притягиваются на возу.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературные памятники Прикамья

Литературно-художественное издание

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

ИМЕНИННИК

Составитель *И. А. Дергачев*
Примечания *Д. А. Красноперова*
Редактор *А. П. Лукашин*
Художественный редактор *С. П. Можаева*
Технический редактор *В. И. Чувашов*
Корректоры *З. Н. Селюк, Г. Б. Черникова*

ИБ № 1789
Сдано в набор 1. 03. 89. Подписано в печать 22. 05. 89. Формат 70×90 1/32. Бум. тетр. обл. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,70. Усл. кр.-отт. 12,07. Уч.-изд. л. 11,628. Тираж 15 000 экз. Заказ № 183. Цена 1 р. 10 к.
Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.


Л П